СИБИРСКИЕ ОГНИ

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Б. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
В. Н. Сероклинов (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)
Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)
Станислав Михайлов (зав. отделом поэзии)
Владимир Титов (ответственный секретарь)
Владимир Яранцев (зав. отделом критики)
Марина Акимова (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

12 декабрь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к читателям 3

ПРОЗА

Валентин РАСПУТИН. Деньги для Марии. Повесть. 4
Виктор АСТАФЬЕВ. Передышка. Рассказ. 65
Василий ШУКШИН. Мастер. Рассказы. 80
Сергей ЗАЛЫГИН. Онежка. Рассказ. 99
Варлам ШАЛАМОВ. Вечерняя молитва. Рассказы. 116
Николай САМОХИН. Последний чудак. Рассказ. 127
Николай МЯСНИКОВ. Старый Маклай. Рассказ. 135
Булат АЮШЕЕВ. Мертвые и живые. Рассказы. 153
Валерия ИВАНОВА. Льдинки. Рассказы. 162
Дмитрий РАЙЦ. Век. Рассказ. 179

ПОЭЗИЯ

Георгий ВЯТКИН. «Все непреложней, все печальней...» Стихи. 61
Арсений НЕСМЕЛОВ. Прикосновения. Стихи. 74
Елизавета СТЮАРТ. «Одиноко и светло...» Стихи..... 77
Анатолий КОБЕНКОВ. Колыбельная ушедшему. Стихи. 94
Владимир БАШУНОВ. «Желание, которое обманет...» Стихи. 112
Анатолий СОКОЛОВ. «Горожанка тоскует в грозу...» Стихи. 130
Владимир ЯРЦЕВ. В год затмения солнца. Стихи. 148
Владимир СВЕТЛОСАНОВ. Корабельная сторона. Стихи. 159
Станислав МИХАЙЛОВ. «На дне залива дремлет Тициан...» Стихи. 170
Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Конец сезона. Стихи. 175
Анжела ПЫНЗАРУ. Слепые птицы. Стихи. 185

Краткие биографии авторов 189

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.
Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала “Сибирские огни”» М. Н. Щукин.

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели!

2015 год объявлен в России Годом литературы.

Событие поистине знаковое. И дело не только в самом факте Года литературы, но и в совпадении по времени. Тревожное, непростое, оно уже стоит у порога, и становится совершенно очевидно, что страна сможет преодолеть трудности лишь в том случае, если будет опираться на истинные духовные ценности, какие и проповедовала всегда великая русская литература.

В двадцатом веке Сибирь дала стране не только свои природные богатства, но и прекрасную литературу, лучшие образцы которой навсегда вошли в золотой фонд отечественной словесности. Нам есть чем гордиться, есть что беречь и сохранять в благодарной памяти.

Этот необычный номер «Сибирских огней», составленный из лучших произведений сибирских прозаиков и поэтов, мы адресуем, прежде всего, молодым читателям, которым еще предстоит открыть во всей полноте богатство и мощь сибирской литературы.

Искренне надеемся, что славные имена наших талантливых земляков станут высоким прологом к предстоящему Году литературы. Надеемся на новые таланты и на достойное сохранение традиций.

Главный редактор журнала
«Сибирские огни»
Михаил ЩУКИН

Валентин РАСПУТИН

ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ

Повесть

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, — ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии, — отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится, и в свой час придет рассвет, и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать… Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но

он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

— Не даст он, — говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашел?

— Нашел.

— Не даст он, — повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, никто не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя, что сказать на прощанье, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить — автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер — все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно — только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно

спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв, — говорит он. — Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне — продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да как — пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись, от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Ревизор молчал.

— Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Тысяча, — подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счета нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги, — задумчиво произнес Кузьма. — Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю, — покачал головой ревизор.

— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот…

— А самое главное: целый год не было учета. Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда! — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра еду дальше, — придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. — Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней… — Он замялся. — Одним словом, если вы за это время внесете деньги… Вы меня понимаете?

— Чего ж не понять, — откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребятишки, — сказал ревизор. — Ну, осудят ее, дадут срок…

Кузьма смотрел на него с жалкой, подергивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, понятно.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

— Тысячу рублей, — сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе, — сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал — для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька — босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтобы отец сказал это словами.

— А как же! — ответил Кузьма. — Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

— Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

— Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

— Слышал я про Марию, — ответил председатель. — Теперь уж вся деревня, поди, знает.

— Все равно не скроешь — пускай, — потерянно махнул рукой Кузьма.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу, — сказал председатель. — Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди скажи ей.

— Надо сказать. — У дверей Кузьма вспомнил: — Я на работу сегодня не выйду.

— Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду, — сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь? — спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма! — задыхаясь, шептала она. — Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой! — исступленно шептала она. — Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он, наконец, вырвался.

— Дура баба, — прохрипел он. — Ты что, с ума сошла?
— Кузьма! — слабо позвала она.
— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.
— Кузьма!
— Ну что?
— Кузьма! — ее голос становился все слабей и слабей.
— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока. Из хозяйства продавать больше было нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую — начни он только поиски денег — уже не исправить. И он долго не двигался — казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять — или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

— Что там — торгуются, что ли? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! — кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

— Не знают, как деньги выманить, — возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка. — Понаделали мягких вагонов — кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

— В самолетах и летайте, — беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим! — кипятится тетка. — Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, когда без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять в мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», — почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле — лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж теперь по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

— Мне до города, — говорит ей Кузьма.

— Билеты только в мягкий вагон, — будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

— А, Кузьма, — встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь. — Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал и все ничего?

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, потом восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой — она у него тоже учительница, — зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

— Может, я не ко времени?

— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич. — Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо, — отказался Кузьма. — Не хочу. Недавно пил.

— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. — Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать, — замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет, — покачал головой Кузьма. — Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот преподнесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

— Неприятность какая, — сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут, — сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

— Что ты мне-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич. — Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

— Нет. — Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему. — Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают, — махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

— А сейчас не дает?

— Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты уже к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что ж делать — дать придется! — вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич. — Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про тебя, конечно, — вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет. — Он опять поморщился. — Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе, — говорил Евгений Николаевич. — Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

— Я отдам, — сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он, наконец, вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

— Ты уж прибежала. — Он готов был выбросить Комариху за дверь. — Почуяла. Как ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони, — затараторила Комариха. — Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь. — Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. — Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — усмехнулся Кузьма.

— А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казенный дом тебе, девка, слава те господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога — вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать, — не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо. — Видно, Комариха собрала карты. — Сними-ка, девка. Хотя нет, подожди, тебе снимать нельзя. Надо, чтобы был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

— Нету.

— Ах ты, беда!

— Да давай сниму, — сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха. — Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партейный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про бога вспоминают и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Мели, мели, Комариха, — устало отмахнулся Кузьма.

— А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то, — заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невмоготу. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма, — произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза — ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда, — позвала она, не глядя на него. Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу, — всхлипывала она. — Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу…

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому, — со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно: он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся — плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

— Билет ваш покажите! — раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается — подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза — на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

— В другие вагоны билетов не было.

— А вы и рады, — зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

— Извините, пожалуйста, тут вот пассажир… — она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: — С билетом.

— Неужели с билетом? — щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

— Не может быть! — сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: — Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

— С билетом…

— Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! — полковник недовольно качает головой и даже цокает языком. — Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

— Вы все шутите, — с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери. — Мне, правда, больше его некуда девать, все занято. — Уходя, она уже и сама пытается шутить. — Но он с билетом…

— Заходи, заходи, — кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

— Полка твоя вон там, — полковник показывает наверх. — Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

— Да я не робею.

— Воевал?

— Довелось.

— Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

— Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила, — подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке. — Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

— Ну-у, — понимающе отвечает ему человек в белой майке. — К ним она так просто не пойдет.

— А к нам, выходит, молено?

— Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции, — человек в белой майке подмигивает полковнику.

— Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению, — сухо поправляет Геннадий Иванович.

— Поверьте, для нее это не имеет разницы.

— Не понимаю… — Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел — обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — все-таки надеванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

— Подожди, подожди, — полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку. — Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

— Из деревни? — спрашивает Кузьму человек в белой майке.

— Из деревни.

— Постель должна быть где-то там, — полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

— Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? — спрашивает человек в белой майке.

— По духу.

— Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

— А я думал, по духу, — насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится — сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке — с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется — такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-стра-дова-лись? — человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадовались, — отвечает Кузьма.

— И как урожай?

— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

— В этом году урожай везде хороший, — говорит полковник. — Так что деревня живет.

— А она всегда живет, — с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович. — Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

— Это было не от хорошей жизни, — заглядывая в окно, возражает человек в белой майке. — Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

— Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? — спрашивает он.

— Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

— А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а деревне в это время делать почти нечего — почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

— На заводе нужна квалификация.

— У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

— Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

— Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже, — говорит Геннадий Иванович. — Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории,

где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь — все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит, — особенно если наблюдается улучшение, — лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

— Ничего. — Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой. — Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет — государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный», — думает Кузьма, но молчит.

— Хлеб мы все едим, — говорит человек в белой майке.

— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, — отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает. — Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

— Что это вы сегодня на нее ополчились? — спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно — нет, не приказание — а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания, — не сразу сдается Геннадий Иванович. — Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

— Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас — что мы будем себе зря голову ломать? — добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник. — Давайте найдем себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

— Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет Министров? — Он окликает Кузьму:

— Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

— В преферанс? — Кузьма не знает, что это такое.

— Он в «дурака» играет, — подсказывает Геннадий Иванович.

— В «дурака», ага, играю, — простодушно признается Кузьма.

Раздается смех — смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

— «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз… Придется вам опять идти за своим товарищем, — говорит полковник человеку в белой майке. Тот, вскакивая, козыряет:

— Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

— Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

— Не очень много.

— Неужели не хватит?

— Хватить-то хватит. — Геннадий Иванович смотрит на часы. — Но там сейчас перерыв.

— Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

— Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

— Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении. — Он протягивает ей деньги. — Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно, — привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», — думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потеками, по воздуху, как по реке в половодье, несет мусор. Маленькие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят — натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

— Эй, товарищ! — слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается. — Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? — Человек в белой майке показывает на преферансиста. — Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

— Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше, — говорит преферансист.

— Мне все равно, — безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

— Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

— Мне все равно, — повторяет Кузьма.

— Вот и замечательно, — радуется человек в белой майке. — Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к

нам, если хочешь, будешь в гости приходить, — говорит он Кузьме. — Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен — ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает — может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

— До свиданья, — обрачиваясь, говорит Кузьма.

— Будь здоров, — отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали — опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый — уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинными. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет — откроет магазин, не захочет — не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар, — попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно — нет, надо терять день, а то и два. Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие — но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь — значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно — вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином — тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин — крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

— Тут и не такие головы летели, куда уж мне, — отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

— Смотри сама, Мария. — И отшутился: — Если что — корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть, — повторяла она. В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнивать ее с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но не трудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, и идут когда попало — Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не при-

дется из последних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером — уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин уже опечатан, никакой бутылки сегодня не будет — нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома — ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась; тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

— Вот ты Советская власть, — доказывал он, обращаясь к председателю, — скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить, что он хочет? Чего она из себя корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

— Дай ты ему, — чтобы только отвязаться, сказал председатель.

Мария решила схитрить.

— Доверенность принесет — тогда дам.

— Какую еще доверенность? — разинул рот Михаил.

— Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным — видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках — несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, потом ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то — если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезла в магазин клеенки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

— Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают — там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые — как я другим-то в глаза будут глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на крыльце уже толкалась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребятишками, и говорит, что ее Катьку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех; только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор, наконец, приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить — было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее, — с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал ее, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула — даже не уснула, а забылась, не страдая, — так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст бог, еще и обойдется, если Кузьма успеет собрать, сколько надо… в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и восемьдесят копеек: Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама

себя решила в тюрьму посадить — не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами. Почему не верила, она и сама не знала.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит, третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

— Понятно, — говорит он. — Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка. — Он выбрасывает одну руку влево. — Это бабушка. — Вторая рука опускается вправо. — А это я. — Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха. — Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайте на него внимания, располагайтесь, — говорит она Кузьме. — Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень. — Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было, — осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся? Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

— Уйди! — сердится старуха. — Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он. — Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь, — неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком…»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

— Дед, а ты когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

— Я ее за всю жизнь пальцем не тронул, — с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, — говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормошит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему — парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель. — Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, — говорит председатель. — Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, — испуганно шепчет он, — посмотри: народ-то не наш, чужой». — «Да ты что? — отвечает она. — Что с тобой, Кузьма? Все наши».

Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле все свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель. — Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный, — шепчет она. — В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек, — кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, — подсчитывает председатель за трибуной, — на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата, — округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидели Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председатель. — В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей, — наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все, — советуют ему.

— Нет, так нельзя, — не соглашается он. — Сто двадцать пять рублей — большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нет! Нет ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слыхать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

— Сережа, — доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. — Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

— Теперь, конечно, получили, — отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

— Ладно, ладно, — согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед. — Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столько грамотный, сколько хитрый, — вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился, и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараковали, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь, — сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него. — Чего я еще тебя буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты, говоришь, у Евгения Николаевича был? — снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь…

— Ладно, дед, ладно, — примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколько раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого — там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на помочь. А теперь все за деньги. Огород спашет — десятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну, не стыд ли?

— Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

— Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края, — очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: — Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как до дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

— Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! — обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

— У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. — Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: — Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколько. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни. — Дед коротко хохотнул, как кашлянул. — У этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? — тянул свое дед. — Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдем, дед, найдем.

— Найдем, — передразнил его дед. — У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

— А я тебе ничего такого и не говорю.

— Ну и ладно. — Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма, — прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты не пустишь.

— Кхе-кхе-кхе, — закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокой-

ное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет его и поможет ему.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

— Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

— Зайду, — пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получа-

лось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

— Ну как, был у брата?

— Был, ага, заходил.

— И как он там?

— Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, — уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

— Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

— Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

— Не даст он, — помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги… Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит, как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших

не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше него ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя было обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду. Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду, — он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотни, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень, постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку, — позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

— Кто это?

— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

— Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.

— Нехорошо получилось, — не отвечая, сказал Василий. — Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

— Сам знаешь зачем.

— Догадываюсь.

— Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету, — со слабой надеждой сказал Кузьма.

— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.

— В избу заходить будешь?

— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

— Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так, — отозвался Василий.

— Еще вчера все ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет — до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

— Да-а.

— Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? — уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт, — невесело пошутил Кузьма. — Куда ни пойди, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

— И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры. Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. — Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!

— Ага, а твои не бесстыжие?

— Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

— Измаялась я с ней, — стала жаловаться Степанида. — Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

— Ага, была там у тебя кровь, — отозвалась Галька. — У тебя там помои, а не кровь.

— Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

— Делать вам нечего, вот и грызетесь, — сказал Василий. — Ты Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

— Ну и хитрый ты, Василий!

— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли чо ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

— Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

— Она, она, — заверила Степанида.

— Вот с этого бы и начинала, — повеселел Василий, — а то связалась со своей Галькой.

— Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар — видно, за закуской.

— О деньгах сразу не заговаривай, — предупредил Василий. — Обождем, когда готова будет.

— Да ты сам и скажешь.

— Можно и так.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?

— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему. — Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тетку Марию жалко. — Снова перевела взгляд на Василия. — Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здорова же ты горло драть, — сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам, — стал успокаивать их Кузьма. Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд…

— Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять, — успокоил ее Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, уже когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед.

— Ну, скажите мне, что она не вредительница! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей! И за что меня господь бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

— Нальешь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила…

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

— Не рано тебе наравне с мужиками пить? — не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

— Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

— Во-во, — поддакнула Степанида. — Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, — спокойно сказала она. — Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида. — Он кто тебе — дядя родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли чо ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, — не смог остановиться сразу Василий. — Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он, — она показала на Василия, — не будет заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали, — отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

— А ты чего, тетка, не допиваешь? — разглядела она. — Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдет, — приподнялся Василий. — Что же ты это, хозяюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой, да я с ее хвораю, — стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядючи, тоже кончали это дело. Так выходит.

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас. — Степанида заторопилась, допила. — Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим, — сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?

— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам, — сказал Кузьма. — Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся, — голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.

— Двести пятьдесят.

— Да сколько не работала.

— Больная я, Василий.

— Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет. — Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. — Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется, — безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее.

— Да помолчи ты! Без тебя обойдется. — Степаниде сказал: — Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра, послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим, — сказал Кузьма. — Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

— Вот видишь, это ненадолго, — продолжал Василий. — Они люди надежные, дай им, Степанида.

— Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли чо ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде. — Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачить надо!

— Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подскакивала Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: — Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо, Василий, — попросил Кузьма. Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

— Тетку Марию жалко, — причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промакнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они, наконец, заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь, — сказал Василий. — Рано еще Марию оплакивать.

— Врет она, врет! — закричала опять Галька. — Я знаю. Видеть ее не хочу.

— А не хочешь — ну и выметайся! — подхватила Степанида. — Не заплачу. Хошь сейчас выметайся! Ты мне всю шею переела.

— Пойдем, Василий, — сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было неважно.

— Завтра я зайду, — сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону.

А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед собой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать — это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Сережа, — негромко зовет она. — Проснись, Сережа.

— Я не сплю, — отзывается старик. — Так лежу.

— Время принимать лекарство.

— Если время, то давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

— О-о. — Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана. — Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме, — несердито отвечает старуха. — Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал.

— Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

— Скажи ему, Сережа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил, — говорит старуха.

— Кого замучил?

— Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается.

— Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.

— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

— Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить. — Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. — Сейчас мы ему скажем свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

— Ты что, Сережа? — спрашивает она.

— Ничего, ничего.

— Я что-нибудь не так делаю, да?

— Все так. Ты не беспокойся.

— Если не так, ты скажи.

— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

— Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.

— Сережа, чай, — говорит старуха.

— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Тоже стаканчик выпью, — говорит он.

— Обязательно надо выпить, — отвечает старуха. — Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Сережа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире
Черное море мое,
Черное море мое.

— Эк красиво! Эк красиво! — укоризненно качает головой старуха. — И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай. — Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. — Почти в норме, — радостно сообщает он. — Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, и им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

— Интересная философия, — замечает старик. — Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо, — серьезно отвечает парень. — Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха. — Все равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это неважно. Я с ней разошелся.

— Разошелся?

— Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! — Парень бодрится. — На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.

— Нет, Сережа.

— Что это? — не понимает парень.

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь, — с сомнением говорит старуха.

— Я другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

— Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата, — не то сердится, не то удивляется старуха. — Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один? Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень. — Стоит только свистнуть… На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хами, сумей подъехать — и все в порядке будет.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, — говорит старуха.

— Это ты о чем? — удивляется парень. — Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это… не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

— Сережа, ты слышишь, что он говорит? — улыбаясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит», — передразнивает его старуха. — Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

— Ты, думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет. — Вот была бы потеха, она бы мне…

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — все с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а… веришь.

— Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да… зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

— Все интересно. Какая баба и… вообще… все. Бабы ведь разные.

— А Сереже было со мной интересно, — просто говорит старуха. — Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил, — говорит он.

— Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень неспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто

сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? — спрашивает парень.

И Кузьма признается:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма… — хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались. После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой… Она меня вечером встретила…

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше этого не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень. — Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там боятся.

— Не потому, — возражает Кузьма. — Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе, — говорит старуха и смотрит на старика. — Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

— Зачем об этом говорить?

— Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать — и радость, и горе, и смерть тоже. — Старуха говорит спокойно и тихо. — Теперь вот у Сережи больное сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно больное Сережино сердце.

— Вы что, эти самые… баптисты, что ли? — ошарашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха. — Ты слышал, Сережа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — еще ребятишки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостаче, и Мария со злостью ответила:

— Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — дед засуетился, стал подниматься. — Тут вот… — и протянул Кузьме деньги. — Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды…

— Не надо, дед.

— Как так не надо? — растерялся дед. — Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

— Ты не думай, — обрадовался дед. — Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить — это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.

— Нет, побегу.

— Дед!

— А?

— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

— Как так?

— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.

— Раз ты не велишь, не буду.

— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь.

Потом пришел Василий, коротко сказал:

— Одевайся, пошли со мной.

— Куда?

— К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створ-

кой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришел. А второй — Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

— Давно, тетка Наталья.

— Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось, — говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхать теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него. Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены, — сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е, — глаза у тетки Натальи слабо блеснули. — Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали, — буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть… Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом, — поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала, — виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Уж я тебя попрошу. Силенок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, — зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

— А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

— Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придешь?

Он замялся.

— Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами, и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножечку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невмоготу оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись, ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, направился в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?

— Пока немного.

— А сколько — можешь сказать?

— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

— И все?

— Пока все.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

— Хожу вот, — пожал плечами Кузьма. Председатель уткнулся в бумаги и молчал.

Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Не сладко было смотреть, как падает зерно, — после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этим уберешь, когда и людей, и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась до-

брая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли, — будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты. Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец, появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с края.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли. Наконец он начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот

какое дело, — председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил — спокойным, ровным голосом. — Но тут еще вот какое дело, — повторил он. — Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, дело хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

— Тебя никто не спрашивает. Спросят — тогда скажешь. — Председатель повернул голову к другой стене. — Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними, как на судилище, и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан. Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать, — твердо повторил председатель. — Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех агроном. Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

— Ты ничего не должен, — недобрым голосом сказал председатель. — Это дело добровольное. Не хочешь — забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

— Да я согласен, согласен, — торопливо закивал ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью. — Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. — Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. — Теперь он говорил специалистам: — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали…

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? — Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами. — Завтра придешь и по-

лучишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

— Да я разве…

— Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма. Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать — такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От слов этих у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год, — пригрозил председатель.

— Может, у нее правда не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!

— Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

— Прижму, как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее так, без пользы лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя — вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.

— Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже — ты заставил.

— Ничего, обойдутся. Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех. — Председатель усмехнулся. — Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это уж давно запримечено.

— А ведь и правда, — удивленно согласился Кузьма.

— Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше, из жизни.

— Я все у тебя спросить хочу, — сказал Кузьма. — Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого — на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

— Да оно и при чем и ни при чем — смотря с какой стороны подойти.

— Брось ты, Кузьма, — отмахнулся председатель. — Что теперь об этом говорить? Суд, что ли, новый собирать?

Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк, и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то подумал бы, что он пьян.

— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? — сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму. — Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так, — словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул. — Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

— Вот-вот.

— Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало… — Председатель помолчал и, улыбаясь, но твердо добавил: — Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

— Давно ждешь, Евгений Николаевич?

— Так, давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда — это, знаешь, что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно, — засмеялся Кузьма. — Смотри-ка, как ты рассудил! — и еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич. — Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь, — Евгений Николаевич осмотрелся. — Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет. Ну, я пошел.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом — невеста

невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошел и сказал:

— Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он подождал, но она так ни о чем и не спросила.

Тогда он разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни — значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошел.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

— Кузьма! А, Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе?

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои, — шепчет парень. Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти и не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да еще на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врет он, что не бегал от нее.

— Кто его знает? Может, и не врет. По-моему, не врет.

— А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень останавливается, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:

— За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим, — говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего — и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня…

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверное, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало — и на водку, и на семью. Я говорю: принцип, — отдохнув, он говорит спокойнее: — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвертый год.

— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чув-

ствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер передо мной показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все не просто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком не сладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и… такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма. — Найдет кого-нибудь.

— Пускай попробует, — зашевелился парень. — Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись…

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-черт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно.

И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает:

— Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю, — осторожно говорит Кузьма. — Это тебе самому надо решать…

— Ну да. Я знаю, что самому. — Парень от волнения по-детски шмыгает носом. — Черт ее знает… — Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: — А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет — на ней белый свет не сошелся. —

Он хочет свести этот разговор к шутке: — А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

— Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем, не торопясь, идет к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день. Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

— Давай.

— Молока, что ли, нету — у ребенка отбираешь! Надо — так налью! — вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока сидели, все время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы, — вот и этот, видно, будет ему как свой. Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться и наступит зима. Снег нынче на удивление еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма. — Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот еще не хватало!

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор!

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово!

— Здравствуй, — с вызовом ответил бухгалтер. — Пришел?

— Пришел.

— Получить хочешь?

— Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась. — Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время. — Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят. В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма, наконец, понял, кивнул.

— А остальные? — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что так быстро все сказал. Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только тройками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

— Много еще осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу от-

дать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были тройки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты… — без особого зла ответил Кузьма.

Он зашел в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попалась жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрым вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шел, а нес деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросал деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не сможет просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме непонятно отчего часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее:

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали. — Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться. — У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления. Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти. Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался. Он ждал.

Прошел час, прошел второй, и Кузьма уже стал недоумевать, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идет. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жен и детей? Ведь девочка может потерять деньги.

Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте, — робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма, — быстро заговорила девочка. — Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто».

Кузьма недоверчиво засмеялся.

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма. — Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу, — попросилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил.

Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели в кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

— Еще что, дед, выдумаешь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумаешь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе счас такое подскажу…

Кузьма промолчал.

— Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно, — дед поднес свое лицо вплотную к Кузьме и зашептал: — Сделай ее беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

— Да ты что, дед? — отшатнулся Кузьма.

Дед заговорил горячей и громче:

— Верный человек мне сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и все. Долго ли тебе? А?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашелся!

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед. — Ну и вороти — мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю — и косточек не найдешь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете — он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задребезжал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижная в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал ее успокаивать — пусть поплачет, теперь даже слезы ее были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался, не придется ли ему еще хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дождаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьется на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И, когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он спадает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть. Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат как спасение из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят на улицу и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

Георгий ВЯТКИН

«ВСЕ НЕПРЕЛОЖНЕЙ, ВСЕ ПЕЧАЛЬНЕЙ...»

* * *

В этот день голубой, навсегда уходящий в безбрежность,
Перед первой звездой, улыбнувшись в ласковой мгле,
Есть ли в сердце твоем беспредельно-глубокая нежность
Ко всему, что цветет, ко всему, что живет на земле?

Мой доверчивый друг, с детски-ясным и радостным взглядом,
С непорочной душой, — непорочной, как в поле цветок, —
Жизнь груба и темна, но прелестным и светлым нарядом
Нежно блещут цветы и у пыльных, угрюмых дорог!

Эта светлая грусть, эта тихая радость близка мне:
Будет горек твой путь, словно в чуждом и страшном краю,
И падешь ты в слезах, и обнимешь холодные камни,
И поведаешь им всю безмерную муку свою.

Но в тяжелом пути, чрез борьбу, и тоску, и мятежность, —
Как нездешний цветок на высоком и хрупком стебле, —
До конца, до конца пронеси эту светлую нежность
Ко всему, что живет, ко всему, что цветет на земле!

СТЕПНАЯ ВЕСНА

1.

Скачи, мой конь, играя и звеня!
Вчера на шумной площади базара
Рукою золотистой от загара
Тебя она ласкала, не меня.
Но сквозь ее спокойные черты
И мне на миг блеснула нежность…
Ах, разбудить бы жаркую мятежность
Мучительной, как иго, красоты!
За нею — смуглой, трепетной и гибкой —
Ворча, стоял богатый аксакал,
И тонкой, хищной, ледяной улыбкой
Змеились губы старика…

Скачи, мой конь! Любовь нас греет скупо,
Но сердцу люб азарт ее игры.
Повеет ветер утренний с горы,
И глянет, глянет солнце из уступов,
Как рыжая лисица из норы…

2.

Человек без седла — нищий днем,
Человек без жены — нищий ночью.
Степь на закате горит огнем,
Солнцем, разорванным в клочья.
Кто ждет меня в юрте весь долгий день?
С охоты вернусь — кто улыбнется?
Сойду с коня — и моя же тень
Качнется со мной у колодца.
Человек без седла — нищий днем,
Человек без жены — нищий ночью.
Томится и мечется сердце мое,
Любимую ищет и хочет.
Поцелуи ее — как душистый мед,
Аксакалу ли дряхлому жить с нею?
Сегодня ночью, когда уснет,
Схватить и умчать сумею!

3.

Рожденные под ветром кони
Степному ветру вручены.
И все невнятней шум погони
Среди звенящей тишины.
Кривою саблей нам навстречу
Взметнулась тонкая луна.
А эти щеки, эти плечи
Еще бледнее, чем она.
Но так трепещут в быстром беге
Две груди — робкие птенцы,
Так налились теплом и негой
Блаженно-тяжкие сосцы…
О, жаркий запах конской гривы,
Простор и тишина степей!
О, сын наш, первенец счастливый,
Приснись скорей и мне и ей.

4.

Небо синее,
Степь золотая,
Шкура ягненка белая…
Радость меня не покинет,
Радость моя не истает.
Не она ли мне петь велела?..
В шкуре ягненка тепло спать
Первенцу многоголосому.
Днем над малюткой склоняется мать,
Ночью — звезды несметной россыпью…

А я недаром меткий стрелок —
Хорошо добываю зверя.
Лишь с охоты вернусь, — получай, сынок,
Рога, и шкуры, и перья…
И весело вьется над юртой дымок…

* * *

Ветер, ветер, гуляй по степной целине,
Наливайтесь, травы, душистыми соками,
Жеребитесь, кобылы, броди в бурдюках, кумыс,
Сгиньте, волки степные аксакалы и баи, —
Подобает народу быть цветущим, как степи весной.

* * *

В море унынья и пошлости,
В безднах страданья безбрежного
Все мы — искатели жемчуга,
Чистого, светлого, нежного.

К грезам безумным прикованы,
В радость исканий влюбленные,
К Острову Счастья несемся мы,
Лаской зари осененные.

В море унынья и пошлости,
В безднах страданья безбрежного —
Слава искателям жемчуга,
Чистого, светлого, нежного.

ИЗ ПИСЬМА

Да, позабылось многое…
Но странно!.. —
Как дивный сон, все помнится одно:
Осенний вечер, гаснущий багряно,
В осенний сад открытое окно.

На столике — дочитанная книга,
У пианино — свечи в полумгле,
Ваш силуэт… и «Песня Сольвейг»
Грига,
Нежнейшая из песен на земле.

* * *

Все непреложней, все печальней
Склоняются к закату дни,
И где-то там, на грани дальней,
Горят прощальные огни.

Но всходят весны — как лилеи,
Но нежатся в росе поля, —
И с каждым годом мне милее
Моя родимая земля.

О, пожелай, чтоб в час последний
Мне снова грезилась весна:
Мои ребяческие бредни,
Моя апрельская луна.

И холодок лесной опушки,
Зазеленевшейся едва,
И на столе, где мудрый Пушкин,
Письмо со штемпелем «Москва».

КАТУНЬ

Царица рек, в немеркнущей короне,
Рожденная неведомо когда
В снегах вершин, в их непорочном лоне,
Светла Катунь, быстра ее вода.

Меж диких скал в несокрушимой броне,
Под шум лесов, немолкнущий года,
Летят ее бесчисленные кони
И отдыха не знают никогда.

Вспененные, с мятущеюся гривой,
То тяжело, то ласково — игриво,
Сбежав к степям, шумят у берегов.

А там, вверху, там новые родятся,
Вздымаются, и прыгают, и мчатся
В алмазах брызг и в пене жемчугов.

БЕЖЕНЦЫ

По длинным и вязким дорогам,
Под частым осенним дождем
К чужим, незнакомым порогам
Устало и хмуро идем.
Оставлены села и пашни,
Деревьев родимая сень…
Как трудно забыть о вчерашнем
И верить в сегодняшний день!
И все же идем мы и верим:
На голос тревоги и мук
Раскроются многие двери,
Протянутся тысячи рук.
И кто-то, меж залпами битвы,
В суровый и трепетный час,
Вздохнувши, прошепчет молитву,
Тоскливо взирая на нас:
— О, Боже, храни и спаси их
До новой, до светлой весны!
Мы дети единой России,
Единой великой страны.

Виктор АСТАФЬЕВ

ПЕРЕДЫШКА

Рассказ

Вы современную песню про кольцо и про любовь слыхали? Глупая, надо вам сказать, песня, да еще и неправильная, особенно в этом месте: «Нет ни начала, ни конца...» Брехня! Я на факте докажу тем, кто составлял эту песню, что есть начало и есть конец!..

В сорок третьем году, во время летних боев, мы с ходу выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толклись на жарко полыхающих полях, и веселый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен, деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой.

Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах, есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка с гектар величиной, зеленевшая в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно.

Но «как ни болела, а умерла», — говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатились «вперед, на запад», — как тогда шутили вояки.

Не раз и не два довелось нам тогда быть в разного рода передрягах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловский мы скорей всего забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева.

Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного батальона, и взвод этот: связистов, разведчиков, топографов, вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом, возил по фронту на «газике» этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звания за умелость и талант — Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком — такой он был классный шофер! «Где “студер” не везет, трактор буксует и олень не идет — там Андрюха Колупаев проедет!» — говорили про него, и через это умение шибко доставалось Андрюхе. «Газик», к которому он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам

почти безостановочно, и когда машину Колупаева поставили на ремонт — собрать ее уже не могли, — вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль «За боевые заслуги» и новую трофейную машину.

Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще ой как много километров! Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит, лицо его осунулось, и в завалившихся глазах обозначилась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли:

— Не заболел ли? Дома все ли в порядке?.. Может, письмо худое получил?..

— Отстаньте от меня!.. Отцепитесь!.. Чего привязались?! — надломленным голосом кричал Андрюха и прибавлял разные слова.

Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко. Позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности берегло такого нужного бойца от истребления.

Но хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да в других вопросах были у нас люди проницательней и вострее его — и скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат — зрящий на три метра в землю, а может, и дальше!

Андрюха Колупаев влюбился!

Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которые господь бог ниспослал человеку этакое чудо!

Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там! Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили! У радиатора «газушки» вертел заводную ручку и матерился на весь Украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик.

О, любовь, ты и вправду что слепа! У меня вот взять, шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть; нос, правда, подкачал — он у меня коромыслом, зато глаза — как у артиста Дружникова — задумчивые — внешность хоть куда! Но завлек я кого-нибудь? Завлек?!

Через две недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, а лишь подразнил, показавши начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено: «Коханый мий!» Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину.

«Коханый мий!» Вот так Андрюха! Это пока мы бились за хутор Михайловский, пока мы издыхали на высотах и у нас все засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов двадцати двух — двадцати трех.

Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. Она жила в белой хатке возле колхозного сада и пасеки, километрах в двух от хутора. Там-то и стоял со своей машиной жук наш Андрюха и времени попусту не тратил. Вдовушка Галина Артюховна птицей летала по двору и, поднарядившись в фартук с лентами, все напевала: «Будь ласка, Андрей Степанычу, будь ласка!..» Лицо Андрюхи так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того поллитра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу.

Фасонит Колупаев Андрюха, задается! Но у него ж в забайкальском совхозе имени Десяти замученных красных партизан имеется жена и двое детей! Забыл? Напо-о-омни-им! Рассказывай, голубчик, как и что было? Детально-досконально рассказывай, иначе...

— Не могу, ребята! Хоть режьте! Любовь промеж нас зачалась гибельная! — и грустно поведал Андрюха, как тоскует он об Галине Артюховне, и его по правилам с машины сымать бы надо, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул: — Очень, ребята, хорошо любить! Вроде бы и мученье, а все одно хорошо!

Поняли мы его — не чурки, как-никак в школах учились, в пионерах иные состояли и книжки про любовь читывали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью и сотворил радостную передышку в нашей беспросветной и тяжкой фронтовой жизни.

Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлебах и читал по многу раз каждое письмо. Потом Андрюха залисил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать благодать — спать можно, пылью не душит. Я не сразу уразумел, в чем тут дело. Оказалось вон что — я сочиняю складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет «жестокого оскала войны», где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где «только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают» и горько пахнет черным порохом, которым мы «овеяны». Чтобы все натурально выглядело, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных «симпатий», я научал тереть бумагу о закопченный котелок, либо обжечь по углам. То-то бедные девчонки в тылу переживали, получив «опаленные огнем» письма!

Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви, хотел, чтобы я написал «хорошее» письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней; бывало, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему: с заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал.

Если бы я знал, чем все кончится. Но никому не ведомы девственные тайны любви. Оч-чень путанная эта штука — любовь. Она как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов в любви столько, что не приведи ты господи!..

Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. «Балаболка ты, говорит, балаболка!..»

Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная! Куда чего и делось?

Зимою, во время тяжелых боев под Винницей, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, а потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали, кабы он не залил в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас. Но получилось, как в худом солдатском анекдоте: Андрюха смешал адреса, и то письмо, что назначалось в хутор Михайловский, ушло в совхоз имени Десяти замученных красных партизан, а Галине Артюховне — наоборот.

Из хутора Михайловского письма прекратились, а из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много: и насчет пенсий, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет подвозки дров, сена, учебы, работы и по всяким-всяким разным причинам. И правильно! Кому же еще, как не командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам-родителям? Он, командир, — отец над всеми и, значит, в ответе не только за боевые дела

солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелось, и не надо терять такое качество и нынешним командирам.

Разные письма бывали. Помню, одна бабенка спрашивала в письме об своем муже: «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил: «Так и так, ваш муж, проявив героизм, ранен и отправлен в госпиталь на излечение». — «Где тот госпиталь? — спрашивает бабенка в другом письме. — Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа». — «Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», — снова вежливо отвечает майор. «Дерьмо ты, а не командир, коли не знаешь, где находятся твои бойцы!..»

Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил себя повелевать людьми и красоваться в военной форме — такие слова!..

Ах, бабы, бабы! Дуры вы, бабы! Право слово, дуры!

Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельсовета. В конце письма он присобачил печать, поставил «верно» и учинил размашистую принципиальную подпись.

Это уже документ. На него надо реагировать. Командир части пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его, и не просто ругали, а прямо-таки срамили: «Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма, а в результате узнаем, чем вы там занимаетесь...» (тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся). Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания — его семья и все труженики славного совхоза имени Десяти замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому Верховному...

Молодой щеголь, перед самой войной окончивший артучилище и мечтающий об академии, если уцелеет, майор бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающе. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком о сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул:

— Вы чего улыбаетесь?! Такой же бабник! Такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!..

Я хотел обидеться на «бабника», да не посмел и поскорее вызвал ЧМО — такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровывалась она точно: чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на ЧМО бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху, а я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос: «Шоб ты сказылась, худа скотыняка!..» На кого-то покрикивал повар: «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!..» Кто получит? Чего получит? — я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг. «Живут же люди, ей-богу!» — я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил: «Эдак я все пораздам, а майору-те што останется?..» Главная цель Жвакина на войне — потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая.

«Чего заныл-то? — услышал я Андрюху Колупаева. — Достать надо уметь, на то ты и старшина!» Что ответил старшина, я не разобрал — по трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан:

— Ну, каку холеру надо? Колупаев слушат!

Мне, простуженному вконец, обсопливевшему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение — живет как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина и еще заносится. Лучше бы за адресами ладом следил!

— А ничего! — сказал я. — Иди-ка вот сюда, на передовую, на наблюдательный пунктик... И тебе тут чего-то даду-ут! — пропел я на мотив популярной до войны песни: «Мама, мама, мне врач не поможет, я влюбился в девчонку одну». Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял.

— Есть когда мне ходить-расхаживать! У меня машина, понимашь, мне по картошки ехать надо, понимашь, чтоб вы проворней воевали и с голодухи не загнулись, понимашь...

Я держал трубку телефона на отлете — и по блиндажу разносилось это запальчивое «понимашь». Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдения, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой.

— Товарищ двадцать пятый говорить будут!

Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту — чего-то соображал.

— Колупаев? Немедленно! Слышишь, немедленно ко мне!..

— Есть! — пискнул Андрюха и добавил: — Есть немедленно!

У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает — и вовсе под руку не попадайся!

— Вот так-то, товарищ Колупаев! — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать — зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно.

— Слышь, — заныл Андрюха.

— И не спрашивай! И не приставай! Военная тайна!.. — отверг я его домогания и деликатно вынул ногтями из пачки командира дивизиона папиросу «пушка», поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и, как глухарь на току, повторял: «Тэкс, тэк-тэк!» Должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно.

Я уже по всем батареям прочирикал последние известия. Дивизион сладострастно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали — не появился ли на передовой влюбленный водитель «газика»?

К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот. С дальних телефонных линий по индукции доносило: «Н-но-о-о! А он че? Х-х-ха!..»

Немцы и те чего-то примолкли.

Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал — какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение, и когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру:

— Прибывает!

И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линиям: «Внимание!» — как перед артподготовкой.

Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, и без того уж застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному:

— Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!

Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго, с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постукивал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал — чего будет.

— Боец Колупаев, — наконец выдавил командир дивизиона и повторил: — Боец!

Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. Но я, в отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами — держись без поддержки масс, отбивайся своими средствами, раз ты такой гордый!

— Иди-ка сюда, боец Колупаев! — поманил к себе Андрюху майор, и тот, не знающий интонаций майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, их я — телефонист, — простодушно двинулся к столику, точнее, к избяной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов.

— Так-так, боец Колупаев, — постучал пальцами по столу майор, — воюем, значит, громим врага!..

— Да я че, я за баранкой, — увильнул встревоженный Андрюха. — Это вы тут, действительно... без пощады!..

— Чего уж скромничать! Вместе, грудью, так сказать, за отечество, за матерей, жен и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети?.. Все как-то забываю спросить.

— Дак эть я вроде сказывал вам? Конешно, много нас — не упомнить всех-то. Жена, двое ребят. Все как полагается.

— Пишешь им? Не забываешь?

— Дак эть как забудешь-то? Свои.

— Ага. Свои. Правильно. — Глаза майора все более сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них. Я держал нажатым клапан телефона — и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты — замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу.

Атмосфера сгущалась. Я бояться чего-то начал, даже из простуженного носа у меня течь перестало.

— Чего случилось-то, товарищ майор? — не выдержал Андрюха.

— Да ничего особенного. На вот, почитай! — майор протянул Андрюхе размахрившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги и заклеена по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши.

Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота, набухали и клейко текли за гимнастерку, под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным подтрясом в голосе напевал переиначенную мной песню: «Артиллеристы, точней прицел! Разведчик стибрил, наводчик съел...»

Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил, сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом, и вот сатирический куплет повторяет и повторяет.

Худо дело, ребята! Ой, худо! Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой.

Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени. Ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно, зигзагами катился теперь уж разжиженный пот по оспяным щербинам и отвесно, со звуком падал с носа на приколотую карту.

«Хоть бы отвернулся. Карту ведь портит...» — ежась от страха, простонал я.

Телефонисты требовали новостей, зуммерить начали.

— А пошли вы!..

— Ладно, ладно, жалко уж...

Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю.

— Воюем, значит, боец Колупаев?! — подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. — Бьем, значит, гада!

Андрюха все ниже и ниже опускал голову.

«Заступница матушка, пресвятая богородица! Пусть майора вызовут откуда-нибудь!..» — взмолился я. Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. «Когда не надо — трезвонят, ироды — телефон рассыпается...»

— Вы что же это, ля-амур-ры на фронте разводить, а?!

— Ково? — прошептал Андрюха.

— Он не понимает! Он — непорочное дитя! Он... — майор негодовал, майор наслаждался, как небесный пророк и судия, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушливую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего не любят его в дивизионе, особенно люди не чинные, войной сотворенные скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне и указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: «Вы посмотрите на него! Это ж невинный агнец!» — я качанием головы подтвердил, что, мол, и говорить — тип! И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все...

— Сегодня вы предали семью. Завтра Родину предадите!

— Ну уж...

— Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку! — майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам. Ну это уж слишком! Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются.

«Ой, батюшки! Что только и будет?!»

— Если будете кричать, я уйду отсудова! — обрывая майора, заявил Андрюха. — И руками не махайтесь! Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте!..

— Что-о-о? Что-о-о-о?! А ну, повторите! А ну... — Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах. Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился. И в это время!.. Нет, есть солдатский бог! Есть! Какой он, как выглядит и где находится — пояснить не могу, но что есть — это точно!..

— Двадцать пятого к телефону!

По капризному сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал с уха трубку:

— Из штаба бригады, товарищ майор!

— А-а, ч... черт! — все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. — Двадцать пятый! Репер двенадцатой батареи? Пристреляли. Да! Четырьмя снарядами. Да! Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда, огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь? — Майор выворотил белки в сторону Колупаева: — С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство? Пока бог миловал. Да. Точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю...

Он сунул мне трубку. Она была сыра — сдерживал себя майор, и нервы его работали вхолостую, гнали пот по рукам. Не одному Андрюхе потеть!

— Ну, как там у вас? — послышался вкрадчивый голос. Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста.

Майор достал из полевой сумки два листа бумаги, пододвинул к ним чернилку с тушью, складную железную ручку достал из-под медалей, залезши пальцами в карман.

— Пиши! — уже утихомиренно и даже скучно сказал он, и я тоже начал успокаиваться: если майор перешел на «ты», значит жить можно. Андрюха вопросительно глянул на майора.

— Письмо пиши.

Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки-непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох и занес перо над бумагой — три класса вечерней школы! С такой грамотой писать под диктовку!..

Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу:

— Дорогая моя, любимая жена...

Андрюха понес перо к цели; даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул:

— Я это писать не буду!

— Почему? — вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.

— Потому что никакой любви промеж нас не было.

— А что было?

— Насильство. Сосватали нас тятя с мамой, и все. Окрутили, попросту сказать.

— Ложь! — скривил губы майор. — Наглая ложь! Чтобы при советской власти, в наши дни — такой допотопный домострой!..

— Домострой?! Хужее!.. Я было кобениться зачал, дак батя меня перетягой так опоясал... Никакая власть, даже советская, тятю моего осаврасить не может...

— Давайте, давайте! — покачал головой майор. — Вы посочиняете. Мы послушаем! — И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники, и я снова угодливо распялил свою пасть.

Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика:

— Не к месту, конешно, меня лукавый попутал. Всю ответственность поступка я не понимал тогда. Затмило! Но извините меня, товарищ майор, артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете то и другое — потолкуем. А счас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная. Завтре наступать, слышу, будете. Мне везти взвод. — Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. — Письмо семье, а заодно и в сельсовет ночесь напишу. Покажу вам. Покаянье Галине Артюховне также будет отослано. Разрешите идти?

— Идите!

Я удивился — в голосе майора мне почудилась пристыженность. Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонь коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору:

— Покурю в тепле. — И курил молча до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно: — Жись не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор. По всему Эсэсэру она протекает. А он, милый, ого-го-оо-о-о! Гитлер-то вон пер, пер, да и мочей кровавой изошел. Оказалось, у него задница не по циркулю пространствия наши одолеть! И на громадной такой территории оч-чень жизнь разнообразна. Например, встречаются еще народы — единым мясом или рыбой без соли питающиеся; есть которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам и молятся не царю небесному, а дереву, скажем, какому, ведмедю или даже змее...

Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал. Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру.

— Вам вот внове знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне? — Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. — Родитель — перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь...

— К-как это? Вина?!

— Вина-а! — хмыкнул Андрюха. — Вино само собой. Но главное — плюху! Желательно такую, чтоб родитель с копылов долой! Сразу он тебя заува-

жает, отделиться позволит. Я вот своротил тяте санки набок и, вишь вот, до шофера самоуком дошел, кержацкую веру отринул, которая даже воевать запрещает. А я худо-бедно фронту помогаю...

— Идите! — устало повторил майор.

Андрюха, баскобайник окаянный, подморгнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю.

Все правильно. Все совершенно верно! Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода! Боец Андрюха! Большого достоинства боец! Не то что я, чуть чего — и залыбился: «Что изволите!» Тьфу!..

Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту.

— Ишь какой! Откуда что и берется! — буркнул он себе под нос. — Снюхался с хохлушкой, часть опозорил и еще болтает о нравах и обычаях, наглец такой! Н-ну погодите, герои, доберусь я до вас! Наведу я на этом ЧМО порядок!..

Письма Андрюхины майор проверил или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем:

— Чтобы не было у меня больше этих ля-амурчиков!

«Э-э, товарищ майор, — отметил я тогда про себя, — и вас воспитывает война тоже!..»

Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем, и беда — какой неряшливый сделался: вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице, иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось. Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе:

— Э-эх, ребята! Если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал бы в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной. Оч-чень это хорошая женщина, ребята! Она бы меня простила и приняла... Да детишков-то куда ж денешь?

Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье — во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину — и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я — телефонист истребительного дивизиона — Костя Самопряхин.

Арсений НЕСМЕЛОВ

ПРИКОСНОВЕНИЯ

ГОЛОД

Удушья смрада в памяти не смыл
Веселый запах выпавшего снега.
По улице тянулись две тесьмы, —
Две колеи: проехала телега.

И из ее окоченевших рук,
Обглоданных — несъеденными псами,
Тянулись сучья... Мыкался вокруг
Мужик с обледенелыми усами.

Американец посмотрел в упор:
У мужика, под латаным тулупом
Топорщился и оседал топор
Тяжелым обличающим уступом.

У черных изб солома снята с крыш,
Черта дороги вытянулась в нитку.
И девочка, похожая на мышь,
Скользнула, пискнув, в черную калитку.

ПРИКОСНОВЕНИЯ

Была похожа на тяжелый гроб
Большая лодка, и китаец греб,
И весла мерно погружались в воду…
И ночь висела, и была она,
Беззвездная, безвыходно черна
И обещала дождь и непогоду.

Слепой фонарь качался на корме, —
Живая точка в безысходной тьме,
Дрожащий свет, испуганный и нищий...
Крутились волны и неслась река,
И слышал я, как мчались облака,
Как медленно поскрипывало днище...

И показалось мне, что не меня,
В мерцании бессильного огня,
На берег, на неведомую сушу
Влечет гребец безмолвный, что уже
По этой шаткой водяной меже
Не человека он несет, а душу.

И, позабыв о злобе и борьбе,
Я нежно помнил только о тебе,
Оставленном, живущей в мире светлом.
И глаз касалась узкая ладонь,
И вспыхивал и вздрагивал огонь,
И пену с волн на борт кидало ветром...

Клинком звенящим сердце обнажив,
Я, вздрагивая, понял, что я жив,
И мига в жизни не было чудесней.
Фонарь кидал, шатаясь, в волны медь...
Я взял весло, мне захотелось петь,
И я запел... И ветер вторил песне.

ЗА

Анне

За вечера в подвижнической схиме,
За тишину, прильнувшую к крыльцу...
За чистоту. За ласковое имя,
За вытканное пальцами твоими
Прикосновенье к моему лицу.

За скупость слов. За клятвенную тяжесть
Их, поднимаемых с глубин души.
За щедрость глаз, которые как чаши,
Как нежность подносящие ковши.

За слабость рук. За мужество. За мнимость
Неотвратимостей отвергнутых. И за
Неповторимую неповторимость
Игры без декламаторства, без грима,
С финалом, вдохновенным как гроза.

ПАМЯТЬ

Тревожат сердце городов
Полузабытые названья:
Пржемышль, Казимерж, Развадов,
Бои на Висле и на Сане...

Не там ли, с сумкой полевой
С еще не выгоревшим блеском,
Бродил я, юный и живой,
По пахотам и перелескам?
И отзвук в сердце не умолк
Тех дней, когда с отвагой дерзкой
Одиннадцатый гренадерский
Шел в бой Фанагорийский полк!
И я кричал и цепи вел
В пространствах грозных, беспредельных,
А далеко белел костел,
Весь в круглых облачках шрапнельных…
А после — дымный был бивак,
Костры пожарищами тлели,
И сон, отдохновенья мрак,
Души касался еле-еле.

И сколько раз, томясь без сна,
Я думал, скрытый тяжкой мглою,
Что ты, последняя война,
Грозой промчишься над землею.
Отгромыхает краткий гром,
Чтоб никогда не рявкать больше,
И небо в блеске голубом
Над горестной повиснет Польшей.
Не уцелеем только мы, —
Раздавит первых взрыв великий!..
И утвердительно из тьмы
Мигали пушечные блики.
Предчувствия и разум наш,
Догадки ваши вздорней сплетни:
Живет же этот карандаш
В руке пятидесятилетней!
Я не под маленьким холмом,
Где на кресте исчезло имя,
И более ужасный гром
Уже рокочет над другими!
Скрежещет гусеничный ход
Тяжелой танковой колонны
И глушит, как и в давний год,
И возглас мужества, и стоны...

ОБОРОТЕНЬ

Гению Маяковского

Он был когда-нибудь бизоном
И в джунглях, в вервиях лиан
Дышал стремительным озоном,
Луной кровавой осиян.
И фыркал злобными ноздрями,
И вяз копытом в теплый ил,
Сражался грозно с дикарями,
Ревел и в чащу уходил.
Для них, не знавших о железе,
Угрозой был его приход
И в тростниковой мгле Замбези
Они кончали час охот.
Его рога и космы гривы
Венчал, вплетясь, чертополох.
У обезьян толпы игривой
Он вызывал переполох.
Прошли века, и человеком
Он носит бычии рога,
И глаз его, подбросив веко,
Гипнотизирует врага.
И, как тогда, дороги черствы,
Но он принес из хладных недр
Свое звериное упорство,
Своих рогов железокедр.
И, наклоняя шею бычью, —
Неуязвляемый базальт, —
Он поднимает вилкой бычьей
Веков проржавленную сталь.

Елизавета СТЮАРТ

«ОДИНОКО И СВЕТЛО...»

* * *

Листопада пора, листопада.
Журавлиный подоблачный клик…
Ни о чем сокрушаться не надо
В предвечерний смиряющий миг.

Я стою над негромкой рекою,
Вижу дальний синеющий бор.
Солнце теплой и смуглой рукою
Гладит ряски зеленый убор.

А закат разгорается рыжий,
Листья ивы прибрежной сквозят.
Водомерки на маленьких лыжах
По воде торопливо скользят.

Куличок суетливый на берег
Прилетел и снует у волны…
Очень хочется сердцу поверить
В нерушимость такой тишины.

Мимо гонят колхозное стадо,
Пыль над ним золотой пеленой…

Листопада пора, листопада.
И осенний смирившийся зной…

* * *

Гонят стадо утром ранним
Через сонное село.
На окне цветут герани,
Бьется бабочка в стекло.

Ходят ходики хромая,
А из рамки на меня
Смотрит важная, немая
Деревенская родня.

Все как прежде, все как прежде.
Только места нет надежде —
Одиноко и светло.

Бьется бабочка в стекло...

НАЧАЛО АВГУСТА

Снова август — осенняя ржавость.
Дождь грибной прошуршал по земле.
Затихает лесная держава
В остывающем этом тепле.

Чуть стемнеет — вполнеба зарницы,
Тьмы и света немая игра.
А бессонница рядом садится
И со мной говорит до утра.

От реки подползают туманы,
В них мой домик, как лодка, плывет.
На коньке петушок деревянный
С неба спелые звезды клюет...

В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Стою я в чистом поле снова.
От зноя марево дрожит.
И в колокольчиках лиловых
Тропа знакомая лежит.
Я ничего не вспоминаю,
Не воскрешаю, не зову, —
Я просто знаю, просто знаю
Тропу, запавшую в траву.
Стою растерянно и молча —
Пусть за собою не манит...
У ног лиловый колокольчик
На грани прошлого звенит.

* * *

Я стану портретом
И тоненькой книжкой стихов.
Без этого лета.
Без крика ночных петухов.
Не будет подсолнух
Отвешивать солнцу поклон.
Не будет бессонниц —
Так крепок мой будущий сон.
Но все, чем прекрасно
Земное мое бытие,
Совсем не напрасно
Наполнило сердце мое.
И все перельется
В те строки негромких стихов —
От скрипа колодца
До крика ночных петухов,
От вольного поля
До ласточки возле стрехи...
От счастья до боли —
Вся жизнь перельется в стихи.

* * *

Возвращусь я в родную избу,
Сброшу груз на щербатом пороге,
Обману, хоть на время, судьбу —
Отдохну от бессменной тревоги.

Буду слушать, как ночью коты
Беззастенчиво бродят по крыше,
Как под добрым крылом темноты
Осторожные шмыгают мыши.

Как во сне ворохнулся листок,
До поры не знакомый с бедою,
Как росу накопил водосток —
Капля спрыгнула в кадку с водою…

В мире мир на предельной черте,
Холодок колыхнул занавески…
Как мне дороги здесь, в темноте,
Эти шорохи,
шелесты,
плески!..

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Вся пылает сквозная осина
В синей-синей прозрачности дня.
И паук, натянув паутину,
Из засады глядит на меня.

Ветер вовсе не хочет трудиться —
Тронуть ветку, хотя бы одну!
Только дятел — дотошная птица —
Прибивает к сосне тишину.

И такой на сосновых вершинах
Успокоенный солнечный свет,
Словно все, чему должно,
свершилось,
Словно места желаниям нет.

Но пути, что уводят и манят,
Беспокойному сердцу нужны:
Мне не знать утоленных желаний
И не ждать для себя тишины.

* * *

Влажный ветер летит над деревней,
На рассвете кричит воронье.
Чистым золотом платят деревья
За прошедшее лето свое.

Чудо жизни все длится и длится…
Но смогу ли, всему вопреки,
Я за лето свое расплатиться
Чистым золотом каждой строки?

* * *

Вспоминайте меня, когда больше не будет меня.
Мне при жизни, поверьте, ни славы, ни денег не надо.
Но когда я уйду, как уходит пора листопада,
Вспоминайте меня.
Я прошу — вспоминайте меня.

На заречном лугу красный месяц заснул на стогу.
Рыба сонно плеснула. Звезда отдаленно блеснула.
И, укрывшись туманом, река потаенно вздохнула.
И костер загорелся на темном ее берегу…

Пусть в душе защемит от мерцанья ночного огня.
Пусть любовь и печаль на мгновение в вас встрепенутся…
Может быть, только так и смогу я на землю вернуться.
Вспоминайте меня.
Я прошу — вспоминайте меня!

Василий ШУКШИН

МАСТЕР

Рассказы

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ

Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

— Понимаешь, выбросили — все стали хватать… Ну, я подумала, подумала — и тоже взяла. Ничего, Вень?

— Взяла? — Веня зло сморщился. — Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. — Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко. — Спасибо. Подумала об муже… твою мать-то.

— Чего ты?

— Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

— Чего лаешься-то?

— Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу… Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды.

Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

— Мам, ты гляди-ка, што он вытворяет — за шубу-то начал обзывать повсякому! — Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. — Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, — вообще вся очень крепкая.

— Ты что это, Вениамин? — сказала она с укоризной. — Другой бы муж радовался…

— А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да улочки две дать по селу — от радости.

— Если недопонимаешь, то слушай, што говорят! — повысила голос теща. — Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать — не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый… И вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, его шаркнуло плугом по ноге), и, когда ему напоминали об этом — что не красавец, — Веню трясло от негодования.

— Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили… — И тесть Вени, и бывший муж Сони сидели. Тесть — за растрату, муж Сони — за пьяную драку. Слушок по селу ходил — Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа, и зятя.

— Молчать! — строго осадила Лизавета Васильевна. — А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости… И сверху, с высоты, скружил ястребом на тещу.

— А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая…

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

— Ох, молодой… — воскликнула она. — Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

— Так… Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. — Она побежала в горницу — писать заявление в милицию. — Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. — Ты у меня получишь!..

— Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. — Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. — Тебе посадить человека — раз плюнуть.

— Я первые колхозы создавала, а ты мне — курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях.

— А про меня в газете писали, што я, хромой, на машине работаю! — тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. — У меня пятнадцать лет трудового стажу!

— Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

— Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка…

— Поса-адим, — опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: — Ты машину дров привез?! Ты где ее взял?! Где взял?!

— Тебя же согревать привез…

— Где взял?! — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

— Купил!

— На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

— Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты — жгла эти дрова и помалкивала?

— Я только сейчас это поняла — с кем мы живем под одной крышей.

— Э-э… завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне — три года, тебе — полтора, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

— Не-ет, ты их еще пока не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездила с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что — домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, и если он будет в пьяном виде… Лизавета Васильевна побежала в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за башковитость, лежало заявление тещи.

— Ну что там у вас случилось? Жалуются вот...

— Жалуются!.. Сами одетые, как эти… все есть! — стал честно рассказывать Веня. — А у меня — вот што на мне, то и все тут. Хотел раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла и шубу купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

— Ну а обзывал-то зачем? Матерился-то зачем?

— Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. После бани четверку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

— Да пишет… много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

— Пишет, што она коллективизацию делала?

— Ну, пишет… Ты все-таки это… не надо — пожилой человек… Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

— Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я… самое малое — сто двадцать, выше нормы вкалываю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили. А то купят — и в сундук. А тут… на люди стыд показаться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил, Венина правда — вся тут.

— Все равно не надо, Вениамин. Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой… Что она? Поймет же она — молодая женщина…

— Да она-то што!.. Она голоса не имеет. Там эта вот, — Веня кивнул на заявление, — всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет.

«Вот же ж тварь, — думал он, — посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила и всю жизнь злилась. Курва… На какой черт тогда и родиться такой?»

Тут встретился ему — не то что дружок — хороший товарищ Колька Волобуев.

— Чего такой? — Колька как-то странно всегда говорит — почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер у парня.

— Какой?

— Какой-то… как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

— Из конторы. — И Веня все рассказал — как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

— Двух сожрала — мало, — процедил Колька. — Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

— Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой… А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них…

У Вени мстительно взыграла душа… Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни «да», ни «нет», как… Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он, к черту, хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

— Пойду сала под кожу кое-кому залью, — сказал он.

И скоро похромал домой. И нес в груди тяжелое, злое чувство.

«Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегает! Курва».

Сони не было дома.

— А где она? — спросил Веня.

— А я откуда знаю, — буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались.) — Она мне не докладает.

— Разговорчики! — прикрикнул Веня с порога. — Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя:

— Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток, с десяток больших гвоздей… Положил это все в карман и вошел снова в дом.

— Что там за материал лежит? — спросил он миролюбиво.

— Какой материал? Где? — живо заинтересовалась теща.

— Да в уборной… Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня — за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

— Посиди малость, подумай, — приговаривал Веня. — Сама любишь людей сажать? Теперь маленько опробуй на своей шкуре. — Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

— Карау-ул! — вопила Лизавета Васильевна. — Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! — наладилась теща.

Веня пригрозил:

— Будешь орать — подожгу.

Теща замолчала. Только всхлипнула:

— Ну-у, Венька!..

— Угрожать?

— Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это не скажут!

Вене попался на глаза кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной:

«Заплонбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать».

— Ну, Венька!..

— Счас я еще Соню твою подожду… Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я вам в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко маломальский купили мне?

— Ты же пришел на все готовенькое.

— А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала… Ты же сама — первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломаются.

— Не тобой нажито!

— А — тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считай, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

— Ну, Венька!..

— Вот так. И не ори, а то хуже будет.

— Над старухой так изгаляться!..

— Ты всю жизнь над людьми изгалялась — и молодая, и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел — пошел искать ее по селу.

— Сиди у меня тихо! — велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из «карцера» соседи. Суд был бурный. Он проходил в клубе — показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в «карцере», — ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые, и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал… Наказать, конечно, надо, но не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный и уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

— Граждане судьи! — сказал он. — Я знал отца Венькиного — он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе — по-

мерла. Сам Венька с десяти лет пошел работать… А гражданка Киселева… она вот счас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется, — но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь — у тебя пенсия-то поболе моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал…

— Я из бедняцкой семьи! — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. — Я первые колхозы…

— И я тоже из бедняцкой, — возразил Михайло. — Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обчеством? В войну ты была председателем сельпо — не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом… это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

— У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! — выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда — а в данном случае просто полезней — лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные пареньки пускали в ход ножи…

— Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме — две женщины. Представьте себе…

— Он не пьет!

— Это что он, после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто!

Под Веной закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюряге.

— Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Этим мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года. Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

— Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки — щупленький такой же, молодой, — лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испужался… бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову… Политрук хотел под трибунал отдать, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами… И што вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были — под потолок, рослые, а тот солдатик — забыл уж теперь, как его фамилия, — не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, што бывает — найдет на человека слабость, стихия — вроде пропал, совсем пропал человек… А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подымется. Вы сами-то воевали, товарищ? — спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

— Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он… конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей. — Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом. — На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михаил не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

— Судили, — неохотно ответил Михайло. — Но…

— Совершенно верно. Но…

— Но оставили без последствия! — повысил голос Михайло. — Только перевели в другую часть.

— Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами и потом заколол двух фашистов, — это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые… материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал… Он — испугался, это понятно. Испугайся он один, в лесу, увидев медведя, — ну тогда положись на волю божью, как говорят, точнее, на медвежью, задерет он тебя или не задерет? Но здесь — солдат, он шел в атаку не один, он испугался, он породил страх у всей роты!

— Ничего подобного! — сказал Михайло. — Как бежали, так и бежали!

— Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди, — возможно, смерть…

— А то мы без него не знали.

— Что же касается данного конкретного случая…

Венька не отрываясь смотрел на представительного мужчину, плохо понимая, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Венька раньше никогда на судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители… Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот — в который уже раз — встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли дать суду какие-нибудь пояснения, Венька пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

— Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас… Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну, четыре… тридцать один — тридцать два… Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его как живого: спокойный, умный, веселый… И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом… ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое постанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные… Этот — представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех: надо сажать. О господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и это можно понять. Она такая — курва. Но этот-то!.. Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовались.

А Веня шел непривычно задумчивый… Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все не переставал изумляться… Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал…

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего, жил бы и дальше. Сманить надо было Соньку от тещи! Жить отдельно… Правда, она тоже — дура, не пошла бы против матери. Но о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался предста-

вительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал… У него поблескивала металлическая штучка на галстуке. Брови у него черные, густые, чуть срослись не переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слились и колечком повисли над лбом, и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки…

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло, земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко и его не касаются. Вспоминал всех, скопом… Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают много, бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось как сон, тяжелый, нехороший…

На 27-м километре Веня увидел впереди «волгу» — стоит, капот задран, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул… И когда представительный мужчина «голоснул» ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай… — И узнал Веню. — О-о, — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно, — старый знакомый!

— Садись! — пригласил Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. — Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился — не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну как?.. — спросил мужчина.

— Што?

— Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь… так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

— С женой, конечно, развод? — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

— Конечно, — Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек — такой… крепкий, что ли, умный, напористый, и при этом веселый.

— Эх, ребятки, ребятки… Беда с вами… Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал, — и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та… Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился:

— Не твое дело.

— Конечно, не мое! — воскликнул мужчина. — Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя… на два восемьдесят семь. — Мужчина чуть колыхнул животом. — Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться…

Веня на мгновение как бы ослеп — до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И как в пропасть полетел, ужаснулся…

— А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

— Да там, в аймаке, шьет один… — Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный — Уша по весне разливается, как Волга. — На заказ.

— Из своего материала?

— Из своего.

— И сколько берет? — расспрашивал прокурор.

— По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее — дороже. — Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно.

— Что значит — хорошее?

— Ну… кожа другая, выделка другая… Разная бывает выделка.

— Ну, допустим, самую хорошую? То есть… самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

— Рублей, может, триста… Одному, говорит, за четыреста шил.

Машина въехала на мост.

— А где этот аймак? Далеко?

— Нет. — Странно: вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой — такое было чувство.

— Адрес-то знаешь?

— Знаю адрес. Знаю… Эх! — крикнул вдруг Веня, как в пустоте, — громко. — А не ухнуть ли нам с моста?!

Он даванул газ и бросил руль… Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора… И увидел его глаза — большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины… Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг устал. И — хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

МАСТЕР

Жил-был в селе Чебровка Семка Рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце… И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках… Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они ровные от плеча до кисти, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Что мы тебе, машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но подходи осторожней — лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.

— Зачем же, Семка? — спрашивали.

— Затем, что так — хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу — вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас… Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену — просто не замечал ее.

— Погоди, Семка, на запой наладишься, — стращали его. — Они все так, запойники-то: месяц не пьют, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.

— Ну так, ладно, — рассуждал Семка, — я пью, вы — нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые…

— У тебя же золотые руки! Ты бы мог… знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

— А я не хочу — как сыр в масле. Склизко.

Он, правда, из дома ничего не пропивал, всю зарплату отдавал семье. Пил на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет… Кабинет они оба додумались «подогнать» под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме. — Шешнадцатый век!

— На паркет настелили плах, обстругали их, и все — даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял… Лежит кошма и тулуп, и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили… Шешнадцатый век, — задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки… Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу… По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышении, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь — внезапно увидишь церковь, белую, изящную, легкую среди тяжкой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором, — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно… Чебровскую видно было за пять километров кругом — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу.

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега… Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно стала прахом та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия, — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну — хорошо, красиво, волнует, радует… Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что — красиво. Что?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй… Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Смотрел, смотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все, — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась бы светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил, — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном… Семка с трудом протиснулся в щель и — где на четвереньках, где согнувшись в три погибели — вошел в придел. Просторно, гулко в церкви… Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту, внизу вдоль стен идет каменный прикладок — примерно в метре от стены у основания и в рост человеческий высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего — Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то четыре узких оконца…

Семка сел на приступку, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка — квадрат. Он поэтому внизу положил камни потемней, а по мере того как поднимал прикладок и выравнивал его со стеной, высветлял: стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына, с которым учил географию, и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты». — Талица, Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район… Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы… Думаю, при Алексее Михайловиче еще… Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!.. — воскликнул Семка. — Как же вы так?

Поп усмехнулся:

— Слава богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь…

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем…

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство… Сходи к митрополиту! — Поп сам тоже заинтересовался. — Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я — как все. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают…

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А где он? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал.

— А я дам, ты откуда будешь-то?

— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь…

— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек… умница… Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как — «от себя»? — не понял Семка.

— Сам ко мне-то… или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно — съезди! А пока будешь ехать, я ему позвоню — он уже будет знать, что к нему, примет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заехай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим… Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чая.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота. А никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся:

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю… Можно узнать. А земли были бояр Борятинских… Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек.

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские…

— Ведь до чего додумался!.. — И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сия-

ние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно, с примесью слюды… И если еще оранжевые стекла всадить…

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил митрополит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать. Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только… не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю…

— Да в Талице-то мало…

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи…

— Вот музей-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии…

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и сами, своими словами… даже лучше.

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут — пишите в Москву… Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию…

— Она бы людей радовала-стояла!

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про то не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми… Во дворе «волга» стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше, пожалуй, иметь дело с властями. Эти попы темнят чего-то… И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом… Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая полная женщина. И захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь «избу XVI века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась…

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча… охота глянуть…

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь. «По-моему, он дома, — догадался Семка. — И у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», — и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?

— Там, — сказал Семка, — идут.

— Идут… — Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет… Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. — Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви, — сказал Семка, пожимая руку председателя. — Она меня перепутала, ваша помощница. Я один… насчет церкви…

— Какой церкви?

— У нас… не у нас, в Талице есть церква семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы… Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал. — Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. — Я говорю, есть в деревне Талице церква, — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. — Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм, — сказал председатель. — Сейчас разберемся. — Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. — Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом…

— Сейчас, сейчас… у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем — по вашей части.

— Пойдемте, — радушно предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам из Талицы, а точнее — из Чебровки, Талица от нас…

— Сейчас, сейчас, — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

«Здесь, вообще-то, время зря не теряют», — подумал Семка.

Вошли в кабинет… Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. Талицкая церковь Н-ской области Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая — «на крови». Предположительно семидесятые — девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга… — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит… погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских

храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году.

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это, — Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке, — ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся…

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил…

— Спокойно! — зловеще сказал Семка. — Что сказали специалисты? Про прикладок…

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок… Там, если обратили внимание, — надписи на прикладке: в тех местах, где внизу захоронения.

Семка Рысь чувствовал себя полностью обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да. — Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. — Похоже?

— Похоже…

— Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я што-то не верю… — Семка кивнул на казенную бумагу. — По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века… Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке, — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам… Надо же! Ну допустим — копия. Ну и что? Красоты-то от этого не убавилось.

— Ну это уже не то… А главное, денег никто не даст на ремонт.

— Не дадут?

— Нет.

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло. И только здесь, на станции, вспомнил, что не пил дней пять уже. Пошел к ларьку… Обидно было и досадно. Как если бы случилось так: по деревне вели невиданной красоты девку… Все на нее показывали пальцем и кричали несуразное. А он, Семка, вступился за нее, и обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью. Но тут некие мудрые люди отвели его в сторону и разобъяснили, что девка та — такая-то растакая, что жалеть ее нельзя, что… И Семка сник головой. Все вроде понял, а в глаза поруганной красавице взглянуть нет сил — совестно. И Семка, все эти последние дни сильно загребавший против течения, махнул рукой… И его вынесло к ларьку. Он взял на поповские деньги «полкилограмма» водки, тут же осаденил, закусил буженинкой и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте… И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем же бередить душу расспросами?

Анатолий КОБЕНКОВ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ УШЕДШЕМУ

* * *

Здравствуй, моя дорога
в крылышках и лесах:
листья в гостях у Бога,
птицы — в Его часах:
шепот и кукованье
облака и травы,
складное волхованье
месяца и молвы…

Там, где темно — сиянье:
там, где светло — волхвы…

* * *

…этот воздух в ясеневой листве
припадает ясеневыми губами
на дворе — к траве, на траве — к Москве,
а в Москве — к не бродившей Москвою маме,

и становятся губы ее Тверским,
а потом — Страстным, а когда — Неглинной:
узелком — житейским, узлом — морским,
расставаньем — кратким, а жизнью — длинной…

Так мерцает счастье в моей беде,
обрастая сутью, ибо в итоге
всяк, глядящий на воду — кружок воде,
всяк, глядящий вдаль — посошок дороге…

* * *

Хорошо — упрятать себя в пальто
и бродить по Москве, чтобы все на свете
полагали: бредет по Москве пальто,
а под ним — шнурки, а над ним — беретик.

Хорошо — натянуть для него мосток,
нацедить речонки ему в дорожку,
хорошо — сыскать для него гвоздок,
а гвоздку хорошо бы сыскать прихожку.

Чтоб на том гвоздке да в прихожке той
задышало оно, чтобы в горле комом
— поперек моей жизни — его покой
обернулся трубкой, очнулся домом…

КОЛЫБЕЛЬНАЯ УШЕДШЕМУ

Спи, мой друг, приснись себе бессонным
маятником, морем, эмбрионом:

временем, пространством — в многоточьи
хочешь — дня, а коль желаешь — ночи…

Спи, дружок, спи, смычка-перемычка
между первой и последней спичкой:

вспыхнула — погасла, начадила,
на лице тенями наследила… —

все проходит, остается ветер,
улица, фонарь, возможно, дети…

* * *

Гробовщик, стоящий кое-как,
кажет отпевальщику кулак —
батюшкина нежная рука
остужает злость гробовщка;

свежая, как новости, вдова
шепчет уходящему слова —
чудится, дыхание ее
переплавит смерть на житие;

столяр с непутевой головой,
сговорившись с крышкой гробовой,
вытирая варежкою лоб,
прыгает как раненый на гроб:

домовой кладбищенских могил —
не хотел, а все же допустил
красный куб к промокшим паучкам,
теплый сруб к продрогшим корешкам…
Спящих справа — левыми стеснил,
спящих сверху — к нижним приспустил...

Тесно за столом и на столе,
тесно под землей и на земле…

* * *

Не печалуясь нимало,
но отвлекшись от забот,
проводили мою маму
дождик, солнышко, народ.

Проводили, хлопотнувши:
кто — усами, кто — губой
по-над прядкою потухшей
и над крышкой гробовой…

Отмантулив на державу
вымирающих идей,
как она тогда лежала
меж цветочков и людей,

как светил ей берег дальный,
славя инобытие,
как мы в спальне коммунальной
обревелись за нее,

как мы к ней тогда припали,
как испачкались в земле,
как локтями посшибали
ложки-вилки на столе…

Гадом буду — не забуду,
как малиновый пенал,
на могильную остуду
налетев, затрепетал…

Не забуду — буду гадом,
как, лопатами звеня,
наповал могильным смрадом
смерть ударила в меня…

Вот и лажу телеграмму,
телеграфных злючек зля:
«Мама, ты и в правду, мама —
небо, солнышко, земля.

Ибо враз, на всякий случай —
разноцветною гурьбой
мчат по жизни неминучей
все, рожденные тобой:
ветер, листья, дождик, тучи,
донник, клевер, зверобой»…

* * *

…случайное замыканье
смыкающих даль зарниц,
печальное заиканье
рассохшихся половиц;

очнешься, пройдешь чрез сени
и сгинешь во тьме веков
на донышках сочинений
бесчисленных мотыльков;

очнешься, пройдешь меж грядок,
ключицею угадав,
каков на земле порядок
у Господа в мире трав;

очнешься, глаза поднимешь —
уверишься: Волопас
и Веспер, и иже с ними —
для Господа и для нас:

надышанное соседство
в немолкнущей пре менад,
отлаженный подле сердца
тургеневский променад,

гремит меж подойных ведер,
взывая: «кому повем
печаль свою?» — голубь Федор,
не ведая прочих тем,

и задницей ли, плечом ли
выкатывает на риск,
как пушку — твою печенку
толстовский артиллерист, —

и коли ты стерпишь это,
столетняя тишина
кивнет тебе гласом Фета
и шепотом Шеншина…

* * *

Звезда мерцает и птица спит —
мог бы уснуть и дом,
но мы купили веселый спирт,
который, как воду, пьем:

подносишь спичку к нему — горит,
а в глотку забьешь — содом.

И кажется, вот они, друг и звук,
и верится — в каждый вздох
влагают персты свои хлеб и лук,
святители выпивох, —

и — «ах», говорит нам луковый луг,
а поле ржаное — «ох».

Потом мы спим и, покуда спим,
как повелел Господь,
то курева дых, то отечества дым
сливаются в нашу плоть…

* * *

Ветошь осени, вешние воды,
отстрелявшийся в лоск гарнизон
и тяжелый, ямщицкой породы,
истерзавший меня горизонт.
Чем он стешит меня, что посчешет —
исстругавши, на что изведет
две березы, четыре скворешни
и четырнадцать петель ворот?

Дай мне лапу, крыльцо золотое,
завитое в такие сучки,
что вся улица, в пьяни и зное,
пред тобою встает на носки —
расцелуемся, спутаем лапы,
задохнемся, вбивая в поддых
нашу жизнь — домовых косолапых,
дамских ямок и ям долговых.

Дай мне губы, студеная влага,
набежавшая из черепков
телефона, чеплашек оврага
и сосудов соседских портков —
расцелуемся, спутаем губы,
задохнемся, в предсердья вогнав
барабаны, литавры и трубы
державеющих в песне дубрав…

Стану прахом — и прахом расслышу
перестак, перестык, перестук
черных птиц с черепичною крышей
в чресполосице наших разлук —
разлечусь, рассупонюсь, засыплю
продавщиц, самогоном прольюсь
в мужичонку, за пьяные сопли
молодого повесы вцеплюсь.

Проведу с тишиной заседанье,
замахнусь на нее кочергой
за скитанья мои… — до свиданья,
до свидания в жизни другой,
где и ты, и твой шепот горячий,
и куда ни пойду за тобой —
серебристая ласточка плачет
над сестрицей своей голубой…

* * *

Не бойся замолчать — и море в час отлива
смолкает, и заметь, нейдут из немоты
Давидовы холмы, друидовы оливы...
Так Авель промолчал, и я смолчу, и ты.

И сердце в миг звезды, и небо в час заката
немотствуют... — увы, как губы ни сомкнуть,

они сомкнутся так, что брат пойдет на брата,
и жизнью станет смерть, и кровью ляжет путь…

И зыбка палестин, и колыбель Европы
молчание хранят, замкнув свои уста
на Каинову тьму, на нитку Пенелопы
и вервия Христа.

* * *

Человек из кино перешел в вино,
от вина человек перешел к обиде,
от обиды — к окну. И глядит в окно —
прямиком на меня, но меня не видит.

А на мне пиджак как литой сидит,
и в горошек галстук, и я не рыжий…
Так, наверно, Господь на меня глядит,
да и я — смотрю на Него — не вижу…

* * *

…а потом вы уедете — сядете в поезд,
пролистнете окошко: поля, туман….
Только я вас представлю — забрезжит повесть,
только я вас окликну — сверкнет роман…

Вы сойдете с поезда — в руки вязов,
долговязых фонтанов, шершавых плит…
И роман повторит вас нагой два раза,
а одетой — повесть вас повторит.

Я сложу из вас книжки, чтоб вас размножить,
и тогда вы сможете мучить тех,
кто внимает книжкам, порастревожив
древоточцев воинских библиотек,

а потом — за роман и, в придачу, повесть —
за разливы слов и палитру чувств,
я, конечно, чего-нибудь удостоюсь,
но не вас, а премию получу,

я попробую с премией той забыться —
перестану думать, куплю вина,
и, глядишь — путешествие, заграница,
то бишь Царства Небесного тишина…

Сергей ЗАЛЫГИН

ОНЕЖКА

Рассказ

Легко и просто знакомства возникают в вагонах и на курортах: встретились, разговорились, расстались. Было и не стало.

Но вот людям выпадает случай вместе путешествовать — по очереди варить суп на костре, поровну делить хлеб, одному до полночи, другому за полночь присматривать за лошадьми, днями же — вместе отыскивать броды на реках и зачарованно глядеть на далекие вершины.

А иногда приходится в промозглых от сырости палатках вместе проклинать туманы и мечтать о солнце.

И если все это предстоит людям, — первые разговоры, первые знакомства возникают робко, неуверенно: они приобретают тогда особый смысл.

В трех палатках, что были разбиты лесной экспедицией на Семинском хребте Горного Алтая, жило шесть человек. Рязанцев с Лопаревым выбрали место вблизи замшелой каменной глыбы, чтобы она заслоняла палатку от ветра, рядом с ними поселились Андрюша Вершинин, студент третьего курса университета, и зоолог Реутский — в очках, со светлой бородкой клинышком, тот самый, что запасся патронами восемнадцатого калибра к ружьям шестнадцатого калибра.

Худощавый, смуглый Андрюша, хотя ему и был всего двадцать один год, вот уже четвертый сезон проводил в экспедиции.

Закалился он необычайно — холодные туманы так и не заставили его хотя бы однажды надеть дождевик — он предпочитал безрукавку, по ночам он не забирался в мешок, а подстилал его вместо матраца, накрываясь дождевиком и ватной курткой.

В третьей палатке жили Плонская и Петушкова, студентки, одна — Иркутского университета, другая — Уральского лесотехнического.

Рите Плонской было двадцать три — она выглядела старше своих лет, Петушковой недавно исполнилось двадцать, но никто этому не верил — ей давали семнадцать и меньше. И это смущало ее.

Все эти люди встретились впервые в экспедиции, близкого знакомства между ними не налаживалось, и никто не брал на себя обязанности подружить всех между собой.

Так было до тех пор, пока не выяснилось, что никто никого не отверг, а каждый мысленно протянул другому руку. Выяснилось это после того, как было установлено, что все люди в экспедиции имеют, оказывается, новые имена.

Андрюша Вершинин был назван Челкашом, потому, должно быть, что носил невероятно потрепанную шляпу. Кто его так назвал — осталось неизвестным, но он принял прозвище без малейших колебаний, продел в дыру шляпы журавлиное перо, которое подобрал недавно в траве, и вид у него стал еще более живописным.

Кандидат биологических наук Реутский почему-то стал Доктором наук, и притом — медицинских; похожая на цыганку Рита Плонская — Кармен, она же Биологиня, поскольку была студенткой биологического факультета.

Начальника отряда Михаила Михайловича Лопарева, человека сосредоточенно торопливого, строгого, смелая Кармен назвала как-то Михмихом и вопросительно уставилась на него огромными, дерзкими глазами, которые были все-таки чуть-чуть смущены в это время.

Лопарев в ответ слегка, почти незаметно, улыбнулся — имя это утвердилось за ним.

Рязанцев остался тем, кем был, — Николаем Ивановичем. Должно быть, его возраст имел значение.

Зато с Петушковой случилось вот что.

Звали Петушкову Онегой. Имя это вызвало недоумение: оно было красивым, но всем показалось странным, что во всем мире его носит, вероятно, одна только Петушкова. Рязанцев, услышав это имя, переспросил, потом стал про себя произносить названия русских рек: Волга, Кама, Нева, Свирь, Десна, Двина... Ни одно из них так не отвечало женскому имени, как Онега. Почему-то до сих пор никто этого не разгадал.

— И все-таки, товарищ Петушкова, я буду называть вас как-нибудь иначе, — сказал Рязанцев, и все его поняли: Онега должна быть женщиной статной, голубоглазой и с косами. Перед ним же стояла девчушка, — маленькая, толстенькая, подстриженная, очень застенчивая.

Она подняла к Рязанцеву свое почти детское лицо и спросила:

— А как же вы будете звать меня, Николай Иванович! Скажите?

Тут он решил:

— Онежкой!

И стала Петушкова Онежкой — с этим все согласились, это ей больше подходило.

В лесном институте, среди подруг, имя Онега почему-то не прижилось. Потому, может быть, что ему завидовали. В институте Петушкову звали Ольгой. Зато еще в школе-интернате, в которой она училась, ее именно так и звали — Онежкой. Сам того не подозревая, Рязанцев сделал открытие, и Петушкова вдруг сразу прониклась к нему уважением, таким же, какое она всегда питала к своим педагогам. Кроме того, угадав ее школьное имя, Рязанцев как бы отказался зачесть ей по крайней мере три-четыре года, и она снова стала шестнадцатилетней.

Рязанцев все посматривал на Онежку внимательно — точно хотел привыкнуть к уменьшительному имени девушки.

Стояло ненастье, Онежка ежилась на холоде.

Она хлопотала больше всех у костра: варила пищу, мыла посуду. Было замечено у нее еще такое свойство: если кто терял какую-нибудь вещь — ложку, зубную щетку, портянку, топор, ведро — все равно какую, то, поискав немного, спрашивал у Онежки — где эта вещь может быть? Она морщила лоб, что-то такое вспоминала, вглядывалась во влажную траву вокруг палаток, шла вправо, влево — и тут же обнаруживала эту вещь.

Рязанцев всякий раз удивлялся, но всякий раз отмечал, что уж очень она проста, Онежка. Простота украшает, а все-таки должно в человеке присутствовать что-то невидимое с первого взгляда, о чем можно лишь догадываться и что рано или поздно удивит вас.

В Онежке же, курносой, послушной и аккуратной, с ее грубыми, серого цвета волосами, которые она подвязывала косынкой, нельзя было заметить

даже признака того, чем когда-нибудь и кого-нибудь она смогла бы удивить. Она вся была на виду.

Юная, она то казалась совсем девочкой, школьницей, то, хлопотливая и аккуратная, вдруг становилась женщиной и хозяйкой, которая исполняет свои обязанности легко, любовно, а больше ничего не знает и знать не хочет, потому что все остальное в мире гораздо проще, чем ее заботы.

Какая она была в детстве, какая она есть и какая она будет когда-нибудь — уютная, ко всему снисходительная маленькая женщина — все это было видно, словно на ладони, когда Рязанцев наблюдал однажды из палатки за Онежкой. В своей неизменной пестренькой косынке, в телогрейке, она ловко чистила картошку, аккуратно собирая в фартук завитые кожурки, большой ложкой черпала из ведра, сощурившись, вся — внимание, высовывала язычок из маленького круглого ротика и осторожно, чтобы не обжечься, пробовала свое приготовление. Потом солила. Снова пробовала, добавляла лук.

Может быть, это так и было — он действительно видел тогда Онежку всю.

...Время шло, ползли по вершинам Семинского хребта тучи, моросил дождь.

На четвертые сутки ненастья, около полудня, тучи немного рассеялись. Видно было, что просветлело ненадолго, на каких-нибудь несколько часов. Лопарев же все-таки решил пройти маршрут. Он сказал Онежке, что они вместе пойдут «в поле». Онежка торопливо натянула серый, не по росту большой комбинезон, брюки выпустила поверх сапог, чтобы вода не скатывалась за голенища, а на голову натянула резиновую купальную шапочку и сказала, что готова.

Шли молча. Лопарев впереди, Онежка шагах в двух или трех за ним. Все время она глядела в затылок Лопареву — волосы у него были коричневого цвета и блестящие, уши из-под кожаного картуза торчали в стороны размашисто, кончики их были прозрачны, словно у маленького ребенка, шея — сухая, с проступающими жилами — очень крепкая, сильная, — Онежка все это рассмотрела.

Остановился Лопарев среди низкорослого кустарника, на ветвях которого, словно водоросли, шевелились обрывки тумана. Совсем низко, как раз над головой Лопарева, покачивался сплошной облачный полог, темный, плотный — сквозь него не было видно ни солнца, ни неба! Несколько влажных каменных глыб да еще стволы каких-то погибших деревьев, прямые, почти без ветвей, казалось, поддерживали этот полог, но непрочно — каждую минуту он мог рухнуть.

— Видимость удовлетворительная... — произнес Лопарев. Ниже вершины, на которой они стояли, располагалось как бы кольцо, покрытое мхом, травой, ползучей березкой. Ширина этого кольца была метров сто, не больше, а далее, и в ту, и в другую сторону, падали склоны, сначала — с изувеченными деревцами, ниже — с редким и хилым леском, а еще ниже — склоны были уже покрыты настоящим лиственничным лесом — густым и совсем темным в этот пасмурный день.

По склонам там и здесь ползали небольшие, будто заблудившиеся тучи. .

— Значит, — сказал Лопарев, — мы с тобой на высоте две тысячи восемьсот, около трех тысяч метров. Вот тут — на этом кольце — подобие высокогорного тундрового плато, а где кончается плато — там и верхняя граница леса. Очень интересное место. — На этом он закончил описание обстановки и уже совсем другим тоном, тоном распоряжения, сказал: — Пойдешь по склону вниз. Понятно?

Удивительный голос был у Лопарева: негромкий, он, казалось, мог загрохотать в горах. Онежка подумала — так сейчас и случится. Она поежилась, поглядела вверх — не обрушатся ли на них темные облака. Лопарев же и дальше говорил совсем спокойно, сдержанно и небрежно. В этой небрежности Онежка снова услышала что-то очень сильное.

Вот уже недели две прошло с тех пор, как она впервые услышала Лопарева. Шли сборы в экспедицию, суматоха стояла невероятная, каждый что-то такое говорил, кто-то кого-то и куда-то обязательно посылал, чаще всех — Онежку. Появлялся Лопарев, спрашивал: «Это — зачем?», или даже по-другому: «На кой черт?» — и его негромкий голос вдруг останавливал суетливую беготню, сразу переставала существовать необходимость всем вместе говорить, перебивая друг друга.

Очень часто Лопарев говорил, ни к кому не обращаясь, будто только для себя самого, а к Онежке так он еще ни разу ни с чем не обратился — сегодня они разговаривали впервые...

Онежка кивнула, сказала:

— Понятно... — и приготовилась слушать голос Лопарева дальше.

— Так вот, маршрут — вниз по склону. Через каждые пятьдесят шагов — останавливаешься. Что нужно? Записать показания анероида и термометра. Раз.

Онежка нащупала рукой футляр с анероидом, который висел у нее на боку — она знала барометрическое нивелирование и надеялась, что ошибок не сделает.

Лопарев дал ей время тихонько, молча улыбнуться, погладить кожаный футляр и продолжил:

— Выбираешь типичную лиственницу. Два. Выбрала. Записываешь что положено в таблицу: высоту дерева, диаметр на уровне груди, состояние дерева. Особенное внимание обращай на суховершинность. Считаешь число иголок в пучке, берешь образцы шишек. Это — три. Теперь еще через каждые триста шагов указываешь тип леса, бонитет, густоту стояния. Это — четыре. Все. Ну как — ясно?

— Ясно, — ответила Онежка.

— Можешь идти.

Она повернулась и пошла. Хотела посмотреть — глядит ли ей вслед Лопарев или он тоже отправился по противоположному склону, но поворачивать голову было нельзя — легко можно сбиться, считая шаги... Двадцать... Сорок.... Сорок пять, сорок девять... Оглянулась — Лопарев стоял совершенно в той же позе, заложив руки за спину.

— Ну, говори, — крикнул он сверху, — какие будешь делать записи! Ну?!

Онежка вздрогнула: голос звучал не в пятидесяти шагах, а совсем рядом с нею... Торопливо расстегнула футляр анероида и потом все, что записывала в полевой журнал, выкрикивала Лопареву тоненьким, прерывающимся голоском, а он стоял наверху, руки назад, и кивал. Кивнул в последний раз, повернулся, ни слова не говоря, пошел в противоположную сторону.

Онежка понимала, что было Лопареву нужно. Некоторые ученые утверждают, будто лиственница — вымирающее, реликтовое дерево, которое отжило на земном шаре. Лопарев же хотел доказать, что это не так, хотел установить, что даже на верхней границе леса, угнетаемая ветрами и морозами, лиственница все-таки сохраняет прежнее число хвоинок в пучке, и шишки на ней не мельчают, и семена обладают прежними свойствами — значит, вымирания нет, есть только борьба за существование на высотах около трех тысяч метров, такая же, как и у всех других пород. Если бы вымирание началось — здесь оно началось бы прежде всего.

Не то чтобы Онежка всегда была очень внимательна на лекциях профессоров и доцентов в Лесном институте, но сейчас память не изменила ей, она вспоминала все, что они говорили о лиственнице — что она хороша в аллеях и в групповых посадках, что из древесины ее, красно-бурой, яркой, налитой, прочной, как у дуба, получают лаки, из коры — дубильные вещества, из хвои — эфирные масла... Кажется, с сегодняшнего дня лиственница стала для Онежки какой-то особенно близкой, знакомой и любимой.

Онежка шла по азимуту вниз и вниз, выполняя все, что говорил ей Лопарев. Ей казалось — он очень толково объяснил, что и как нужно делать. Чем дальше, тем почему-то было легче и легче идти, и она шла, приминая высокую мокрую траву, отряхивая с травы серые капли влаги, отчего следом за ней возникала тоненькая зеленая дорожка.

Работа спорилась.

Петь хотелось ей, но она не запела — поняла, что ее голос будет лишним в пасмурном и безмолвном лесу.

Нельзя было петь среди окутанных туманной дымкой деревьев, низкорослых, угнетенных ветрами.

А петь все-таки хотелось, чем дальше, тем больше, и тогда она стала думать под звуки нехитрого, настойчивого и никогда не слышанного прежде мотива, который зазвенел в ней.

Вернее, она то думала, то слушала себя, и было что-то очень похожее на сон, когда спишь, ничего особенного не видишь во сне, зато ощущаешь, чувствуешь так, как никогда не чувствовал наяву... Потом эти мысли стали похожими на сказку, детскую, далекую, названия которой она никак не могла вспомнить и, наконец, мысли удивили ее, поразили даже.

Поразилась она, когда, пересчитывая число хвоинок в пучке, вдруг представила, что в руках у нее не хвоинки, а большие, взрослые деревья. Будто она склонилась над лесом, лес этот совсем не такой, как здесь на склоне — хилый, низкорослый, туманный, — а огромный, тенистый и солнечный, но почему-то он весь у ее ног, и она запросто берет в руки одно, другое, третье дерево...

Деревья живут сотни лет — она столько же... На ее глазах маленькое опушенное семя сибирской лиственницы дает росток, на ее глазах появляется маленькое деревце и вырастает затем в великана.

Даже и этого ей было мало — одно поколение лиственниц за другим покрывали горы, долины, еще какие-то земли — она все видела.

Легко и просто, как легко и просто приходилось ей летать во сне, оттолкнувшись от земли, мчаться куда-то ввысь, — так было ей теперь просто увидеть лиственницу через тысячи лет, узнать, что она не вымирает, наоборот, лиственничных высоких и светлых лесов становится все больше и больше на земле.

Еще, побывав где-то очень далеко, разволновавшись, размечтавшись, Онежка спросила себя — вот это и есть, может быть, то самое, что называется не совсем ясным, но красивым словом — открытие? Открытие?!

До сих пор, и в школе, и в институте, она слышала о множестве открытий, сделанных в разное время необыкновенными людьми, все это нужно было хорошенько запомнить, чтобы потом рассказать на экзаменах, рассказать на «хорошо» и даже на «отлично». Но тут вдруг она почувствовала себя причастной к открытию, прикоснувшейся к нему. Пожалуй, одна она не смогла бы к нему прикоснуться, если бы не Лопарев. Вслед за ним, сильным и уверенным, лучше — вместе с ним — она могла это сделать, могла доказать, что лиственница не умрет никогда и ни за что. Поразительно это было для нее!

Так работала Онежка, улыбаясь, оставляя зеленые тропки на серой от влаги траве. Молча, незаметно она повторяла все тот же настойчивый мотив, когда к ней приходили ее мысли, и потом удивлялась этим мыслям, когда наступал черед громко звучать и даже греметь песне, которую она так и не пела, а только чувствовала все сильнее. И все-таки, несмотря ни на что, — нужно было расставаться со всем чудесным и необыкновенным, что охватывало ее. Нужно было это сделать, причем из-за сущего пустяка, из-за мелочи.

Она сама была виновата... Когда Лопарев там, наверху, объяснял ей, что и как нужно делать, она все понимала прекрасно, но стеснялась спросить у него об одной мелочи. Знала — обязательно нужно спросить. И не спросила. Побоялась, что Лопарев подумает о ней плохо, решит, что она — лентяйка и трусиха.

Он сказал, чтобы она шла по азимуту вниз и вниз. А далеко ли? Сколько времени? Где и когда они встретятся?

Если бы Лопарев сказал, что Онежка должна идти до поздней ночи, до тех пор, покуда у нее хватит сил — она так и сделала бы, и сил у нее хватило бы надолго. Но вот ей предстояло самой решить — когда же повернуть обратно, и для этого решения сил не хватало, и она шла все вперед и гнала прочь неизбежное решение, всерьез думая, что, наверно, придется заночевать в лесу.

Была у нее надежда на какой-то случай: вдруг путь ей преградит отвесная скала или лесной зверь повернет ее обратно.

Онежка выросла в сибирском далеком леспромхозе, леса не боялась, но и опасностями, которые он таил, никогда не пренебрегала, теперь же нетерпеливо ждала какого-нибудь страшного случая.

И такой случай наступил.

Тучи снова потянулись с запада, темные, почти непроницаемые. Не то что продолжать в этой мгле работу — просто двигаться было очень трудно, а Онежка обрадовалась. Досадовала только, что тучи пришли слишком рано — могли бы повременить час-другой, и она успела бы сделать больше.

Свой след — зеленоватую полоску на серой траве — она быстро потеряла, может быть, трава и на этой полоске снова уже покрылась влагой. Онежка двигалась теперь только по компасу.

Стали встречаться ей на пути каменные глыбы. Она что-то не замечала их, когда спускалась вниз, а глыбы между тем смыкались все теснее и теснее, под ногами совсем исчезла трава, склон — каменистый, скользкий — становился все круче.

Потом Онежка заметила: и справа, и слева туман оседает, чуть светлеет. Может быть, справа и слева был обрыв, а она шла по гребню?

Онежка поежилась от этой догадки, но бодро шла вперед и вперед, только стала нагибаться кое-где, чтобы руками нащупать мелкие камни. Камни нашлись не сразу — скала была сплошной, прочной, а найдя их, Онежка бросила один в одну, другой — в другую сторону. Прислушалась...

Камни, сначала один, потом другой — ударились где-то далеко внизу, звуки донеслись к ней глухие, не сильные.

Так и есть — она шла по гребню!

И опять Онежка не испугалась, только стала двигаться осторожнее. Она сама желала какого-нибудь необыкновенного случая, трудного препятствия — и вот дождалась. Нет, страшно не было, она все еще оставалась под впечатлением своих недавних мыслей и ощущений, все еще, хотя реже и реже, звучал в ней прежний мотив.

Не боялась до тех пор, пока не стало вдруг темно. Темнота наступила неожиданно и непонятно почему. Где-то далеко впереди вспыхнул яркий свет, который не то ослепил ее, не то сжал, сдавил тучи, и тучи в одно мгновение почернели от этого.

Вот тогда, не поняв, что же произошло, она испугалась. Хотела сделать еще несколько шагов вперед, миновать круглый, скользкий выступ, на котором так неудобно и трудно было стоять, но побоялась шевельнуться.

А мимо в это время помчалась черная-черная туча, преследуемая волной света. Стало так, будто мчится мимо вся земля, вращается из ночи в день, и только один круглый скользкий камешек, на котором ты стоишь с таким трудом, остается неподвижным в этом вихре. День — яркий, блистающий, с распахнувшимися уже горными далями, стремительно приближается к тебе, а ты — еще в ночи, ночь отступает, но не рассеивается, больше и больше наливается тьмой.

Сквозь черную тучу больно смотреть на искрящуюся волну, которую день катит впереди себя. Волна эта уже совсем близко, она — из мелких капелек света, совсем хрупкая — сейчас заденет о скалу, ударится о тебя и рассыплется осколками, и обрушится туда, в темную глубину.

И в первых же отблесках света, проникших к ее ногам сквозь тьму, Онежка увидела, что стоит на самом краю отвесной скалы, к подножью которой один за другим уже начали падать яркие осколки, и вот сейчас она сама тоже соскользнет с камня, выпадет из черной тучи в эту вспыхивающую бездну.

Невыносимо было видеть, как это случится, как, распластанная, она рухнет вниз, ударится о камни, как все кончится раз и навсегда. Чтобы не видеть, закрыла глаза...

Ее пошатнуло... Она зачем-то протянула вперед руки, колени у нее дрогнули, согнулись...

И в этот миг почувствовала, как черная туча миновала ее и все вокруг заполнил свет. Она ощутила его закрытыми глазами, лицом, руками, попрежнему протянутыми вперед, ощутила, что дышит светом.

Когда же вздохнула, медленно и глубоко, всей грудью, — поняла, что не падает, а с трудом, но еще стоит на скользкой макушке камня. Открыла глаза. Там, внизу, куда она падала и все-таки не упала — краски уже перемешались невероятно, трава была синей, ветки караганы — ярко-желтыми, выпуклыми, словно под увеличительным стеклом, камни — зелеными и еще какого-то смешанного, на глазах меняющегося цвета.

Это была радуга...

Очень тихо, как бы едва прикасаясь подошвами сапог к поверхности камня, Онежка сошла с него, поглядела кругом и двинулась вперед по вершине гребня, который был теперь весь открыт глазам. Всего метров сорок было пройти на высоте, головокружительной и страшной, а потом каменный гребень вонзался в склон.

Онежка ступила, наконец, на мягкую и влажную траву склона, поднялась немного вверх — и тут перед ней предстали все те глыбы, из которых возникал гребень и лезвие самого гребня, все кручи, которыми она прошла в тумане. Неужели действительно она там прошла?!

А когда Онежка различила на гребне камень, с которого она падала и не упала вниз, к подножью скалы — слезы хлынули у нее. Она бессильно опустилась на траву, зная, что будет плакать долго и горько, до тех пор, пока само собой не придет откуда-то успокоение, пока не станет изнемогать от слез.

Картины, одна страшнее другой, возникали перед ней: она видела себя неподвижной, распластанной на сизых, все еще играющих красками камнях, искалеченной, неузнаваемо изуродованной.

Потом представила, как о ней плачут лома, в ее родном леспромхозе, далеко-далеко отсюда, а потом снова чье-то распластанное тело померещилось среди камней.

Всю глубину невысказанной обиды она пережила сейчас: почему это возможно — погибнуть вот так глупо и случайно? Ни к чему? Ни для кого? Ничего еще не испытав в жизни, не увидев жизнь?

Ее никогда еще и никто не любил! И она тоже — никогда и никого.

Письма школьного товарища Феди Струкова, в которых он называл ее Онежкой, были такими робкими, так в них было все правильно, что их можно было прочесть кому угодно, и в институте она прятала письма от подруг просто так — чтобы было, как у других. Эта робость Феди Струкова обернулась сейчас грустью и такой досадой, словно всю жизнь ее всегда озаряла любовь, и только что, сию секунду, она любовь потеряла.

Глядя сквозь слезы на освещенные радугой скалы, Онежка в первый раз в жизни подумала, что ведь и дальше могут ей встретиться еще более страшные пропасти и несчастья.

До сих пор она спокойно проходила мимо чужого горя, мимо трудных женских судеб, почти не запомнив их, не заметив, не почувствовав ничего, потому что была убеждена, будто горькие слезы никогда не потекут из ее глаз, чья-то неразделенная любовь, когда один любит, а другой думает, что любит, чье-то

несчастье от того, что не рождались дети, или другое — что дети рождались, но несчастными, — все-все это тоже чужое, не ее. С ней этого не может случиться...

Но вот она стояла над пропастью, пролила слезы и сквозь слезы увидела, как это просто — изувечиться, погибнуть, и впервые, кажется, по-настоящему поверила, что бывают на свете несчастья, что несчастье может случиться и с нею тоже...

Онежка никогда не мечтала о чем-то необыкновенном — о необыкновенных путешествиях, о необыкновенной, никому больше не доступной любви, о каком-то великом счастье, не требовала в жизни ничего большого и значительного, была скромной и самой обычной и была уверена, что и жизнь поэтому не имеет никакого права приносить ей обиды.

Она никогда ни одним словом не оскорбила жизнь. Если при ней говорил кто-то: «Пропади все пропадом!», «Какая это, к черту, жизнь!», если заходила речь о чьем-то самоубийстве, — ей даже присутствие при таком разговоре было тяжким, она старалась поскорее уйти прочь, не слышать этих слов, не видеть человека, который их произносит.

В большом ли, в малом ли — все равно, она одинаково верила не в худшее, а в лучшее. Говорили о войне — она верила, что войны не будет единственно потому, что ее не должно быть; говорили о чьей-то болезни — она была убеждена, что больной человек обязательно выздоровеет; если она неважно знала материал, когда шла на экзамен — верила, что не провалится; если у нее не было билета в кино — что ей удастся купить билет с рук перед самым началом сеанса.

Случалось, Онежка все-таки проваливалась на экзаменах, и билет в кино тоже не всегда удавалось купить — это ее удивляло, но не расстраивало, вызывало грусть — но ненадолго, и винила она себя же.

Никогда Онежка не говорила плохо о людях. Ото всех она всегда ожидала только хорошего для себя, была даже убеждена, что все должны ее любить. Встречаться с плохими людьми, иметь с ними какие-то дела — это тоже несчастье, а любое несчастье ей претило, было чьим-то, но не ее.

Но вот она впервые почувствовала себя большой и сильной, она запросто перенеслась куда-то вперед, чтобы поглядеть на будущие поколения лиственниц, впервые подумала, что, может быть, и ей предстоит что-то такое открыть еще неизвестное в этом мире.

И что же?

Жизнь сейчас же отомстила за эти мечты, привела на самый край бездны, испугала.

Когда Онежка вернется в лагерь, разве кто-нибудь догадается, узнает о том, что с ней случилось? Переживет хоть частицу того, что пережила она? Ничуть не бывало. Вот если бы Онежка рассказала обо всем, разревелась, изругала Риту за то, что та осталась в лагере, а не пошла с ней в этот маршрут, надулась на Рязанцева, потому что он только и делает, что лежит в палатке и пялит на всех глаза, обидела бы Доктора медицины просто так, ни за что, и тоже просто так сказала что-нибудь злое Челкашу, — вот тогда все они поняли бы: что-то с ней случилось, проявили бы к ней заботу, внимание, соболезнование, даже — уважение.

Но Онежка промолчит, никого не испугает своей чуть-чуть не состоявшейся смертью, и никто-никто не обратит на нее ни малейшего внимания, не пожалеет и не поймет как раз тогда, когда она страдает оттого, что ей необходимы и внимание, и жалость, и понимание, и ласка — все добрые человеческие чувства, сколько их есть на свете.

Вот награда за скромность: одиночество... А ведь она думала, что чем скромнее она будет, тем лучше не только для других — и для нее тоже.

Больше всех обижена была Онежка на Лопарева: он послал ее в этот страшный туман. Он где-то здесь сейчас, в горах, может быть, совсем близко,

и, если бы захотел, мог бы ее найти и увидеть всю в слезах, понять... Если бы он сейчас приблизился к ней, она разревелась бы пуще прежнего, пусть слезы лились бы ему на руки...

Не скоро еще, продрогшая, мокрая до нитки, Онежка поднялась с земли. Когда поднялась — подумала, что стала совсем-совсем не той девчушкой, которая проснулась сегодня утром в палатке с ощущением, словно в двадцать лет ей довелось родиться снова, и которой люди отказывали в этих двадцати, а давали семнадцать, даже шестнадцать лет и, должно быть, правильно при этом поступали. Двадцать, а может быть, и больше ей стало только сегодня, сейчас.

Медленно, не оглядываясь, Онежка поднималась по склону. День, казалось ей, закончился, было странно неуютно даже оттого, что до сих пор светло и солнце в небе. Ей же хотелось поскорее придти в лагерь, забраться с головой в спальный мешок, забыть обо всем на свете. Забыть хотя бы до утра, а если можно — на долгий-долгий срок. Онежка вспомнила, с каким усердием, даже с упоением хлопотала она у костра, готовила обед, мыла посуду, наводила порядок в палатке, потому что Рита этот порядок нарушала, разбрасывая вещи. Вспомнила, грустно усмехнулась.

Лопарева Онежка увидела на том же месте, где они расстались. Он сидел верхом на старом, полусгнившем и вывороченном из земли пеньке, а когда увидел ее, встал — руки за спину.

— Жива? — спросил он, когда Онежка подошла к нему совсем близко.

Она долго молчала, потом подтвердила тихо:

— Жива...

— Значит, все в порядке... — Сильным и ловким движением небольших рук Лопарев вдруг вскинул на плечо пенек, на котором сидел, через другое плечо оглянулся на Онежку. Она его вдруг не узнала, такое у него было радостное, веселое лицо. — Находка! — сказал он. — Потащу в лагерь! — похлопал по пеньку рукой и пошел вперед. Онежка — за ним.

Еще издали, увидев фигуру Лопарева верхом на пеньке, Онежка догадалась, что день не кончился. Когда же Лопарев спросил, жива ли она — вопрос этот, нескладный, грубый, насмешливый, ее поразил. Ни о чем другом и в самом деле не надо было ее спрашивать. Чтобы ответить на его вопрос, она оглянулась — вокруг были горы, все в необыкновенных красках только чуть-чуть начинающей блекнуть радуги, а далеко внизу — долины с реками, деревнями, стадами и с тенями облаков... Нет, день ничуть не стал короче от всего того, что уже произошло сегодня... Было около пяти вечера.

«Почему он такой радостный — Михмих? — подумала Онежка. — Потому, что красиво кругом?» Нет, Лопарев не глядел по сторонам, ни слова не сказал ни о горах, ни о радуге... Догадка вдруг пришла к Онежке: рад, что она вернулась цела и невредима?..

Она шла за Лопаревым, молчала, глядела в его коричневый затылок с едва заметными седыми волосками и уже готова была простить ему все: что он послал ее в туман, что не стал искать ее, что он ни словом не может ее пожалеть, когда Лопарев вдруг остановился, сбросил на землю пенек и, весь потный, ласково, радостно сказал этому пеньку:

— У-у-у, проклятый! Образина-то — надо же?! — и засмеялся. Теперь сомнений не было — Лопарев радовался своей находке. Он еще раз осмотрел внимательно пенек и только между прочим, не глядя на Онежку, спросил:

— Ну как в тумане-то? Я думал — гробанешься, чего доброго!

— Вы это с кем разговариваете? — спросила Онежка.

— С тобой, ясное дело... — ничуть не смутился Лопарев.

Онежка не стала отвечать ему, сама спросила:

— А что вы стали бы делать, Михаил Михайлович, если бы я... как это вы говорите... и в самом деле гробанулась?

Тут Лопарев серьезным и деловитым взглядом окинул Онежку всю — с ног до головы:

— Сколько килограммов?

— Каких? — не поняла она.

— Обыкновенных... По тысяче граммов каждый.

Снова она долго не могла понять вопроса, а потом провела рукой по руке, по лицу, почувствовала, как покраснела вся, и тихо-тихо ответила:

— Давно уже не взвешивалась... А вообще — пятьдесят три...

— Пустяк! — повел он плечами. — Вот эта штука, — он хлопнул по пеньку, — наверняка четыре пуда. С гаком. Ничего — тащу... Утащил бы и тебя!

Лицо у него было в поту, в земле и в трухе — он испачкался о пенек; коричневые глаза — по-хозяйски строгие. Он был сильный. Действительно, он ее запросто унес бы на своих плечах, если бы она вдруг сломала руку или ногу...

— Михаил Михайлович, ну а если б я... совсем?

Теперь не понял он:

— То есть как это — совсем?

— Очень просто — упала бы с какой-нибудь скалы в тумане, мало ли что может быть — и гробанулась. Сейчас лежала бы на камнях... Изувеченная... Мертвая...

— Выдумываешь! — засмеялся Лопарев. — Трусиха ты! Знаешь — так не бывает! — сказал это с таким убеждением, что Онежка даже приостановилась: «Почему так не бывает? Почему так не могло быть с ней всего лишь часа два назад, если так было?» Лопарев же медлил с ответом на ее безмолвный вопрос и только после долгой-долгой паузы заговорил снова:

— С первого же раза и совсем? Не бывает. Человек много раз споткнется, потом, смотришь — грохнулся. Почему грохнулся? Не боится больше спотыкаться, вот почему. Привыкает. Начинает думать, будто спотыкаться — это можно, это не беда. Тут как раз беда к нему... В общем — философия. Ты думаешь — для чего мне эта коряга?

Коряга интересовала Онежку, как только она ее увидела, но не сейчас. Сейчас она обдумывала слова Лопарева, он этими словами заставил ее сосредоточенно думать. Однако Лопарев был настойчив:

— Так вот, скажи — для чего мне коряга?

— Ну — не знаю...

— Думаешь, зря тащу — надсажаюсь? Шалишь, брат! — кому-то он погрозил кулаком. — Точно — шалишь! Вот приволоку ее домой, ровненько пилой срежу, рассмотрю во всех подробностях, голубушку. Дереву было триста лет. Не веришь? Спорю на что угодно! Не смотри, что пенек тонкий. Условия внешней среды — не очень-то растолстеешь на верхней границе леса. Ну вот — триста лет, и за все триста лет климат здесь отпечатался. В институте учила? Знаешь?

Онежка учила, знала, но тут она захотела, чтобы Лопарев говорил и дальше. Она промолчала. Лопарев же теперь не заставлял себя долго ждать:

— Во влажные годы прирост у дерева большой. В засушливые годы — слои совсем тонкие, сливаются. И — пожалуйста — на этом пеньке летопись осадков за триста лет. Вот тут можно рассмотреть — самый продолжительный засушливый период наступил, когда лиственнице этой было лет сто... Длился он девять лет. Пусть — двенадцать. Еще через семьдесят, то ли восемьдесят лет — дома сосчитаю точно — снова засушливый период, еще спустя полвека...

— Ну а что же дальше? Что — теперь?

— Теперь вот что. Если лиственница действительно вымирает, как говорят иные ученые мужи, так у нее таких трудных периодов должно быть в жизни больше, и они будут продолжительнее, чем у других деревьев. У ели, к примеру. У сосны. Так?

— Так...

— Ну а если срез лиственницы дает совершенно такую же картину роста, как деревья других пород — это значит, вымирает она или нет? Твое мнение?

— Нет... Не вымирает!

Лопарев не скрывал радости:

— Видишь! — сказал он. — И до тебя дошло! Верно — не вымирает! Куда мы с тобой заглянем через этот пенек: на три века назад, а значит, и вперед на столько же! Как не больше! Открытие! Это тебе понятно? Доходит? — И, не дождавшись ответа, взвалил пенек на плечо: — Пошли! Не терпится мне! Теперь я таких пеньков наворочаю — гору! Своя методика! Сила!

Снова шли по тропе, снова Онежке хотелось сказать, что лишь сегодня, совсем недавно, пересчитывая число хвоинок в пучке, она тоже побывала там — в далеком будущем, и прикоснулась уже к открытию. Напрасно Лопарев думает, будто это ей недоступно. Но что-то мешало так сказать, и только возник вдруг снова тот самый мотив, который ее сопровождал, когда все это было с ней. Она прислушалась к нему, к этому мотиву, который зазвучал в ней снова все громче и громче, а сказала едва слышно Лопареву, что у нее ведь полная сумка шишек лиственницы. Как Лопарев велел, так она и собирала эти шишки.

Он не расслышал:

— О чем ты? — А когда она повторила, махнул рукой: — Выбрось!

— Что?

— Да шишки-то!

— Шишки?! Но ведь я же их собирала?!

— У академика Скачева такая, брат, коллекция шишек лиственницы сибирской, что нам ни в жизнь не собрать. Проще поехать в Ленинград и там эти шишки изучать. Ясное дело — мы тоже их будем собирать, но только по другой методике. А эти — можешь выбросить.

— Но я же их собирала! Записывала! Лазила по скалам! В тумане! Для чего же это все?!

— Для практики! Скалы — для практики! Туман — тоже! Поучиться коечему. Прочувствовала? Перетрусила в тумане? А?..

Такой между ними был разговор: Лопарев как будто нацеливался словами в Онежку и всякий раз поражал ее дважды — сначала обескураживал, обижал своей грубостью, но тут являлся еще и другой, сокровенный смысл его слов, смысл, который отвечал только что пережитому и еще не остывшему в ней, угадывал ее мысли и чувства.

Как только они снова встретились, первое, что Лопарев сделал — спросил, жива ли она. И этот вопрос, небрежный и обидный, таким и должен был быть: в тот момент ей действительно нужно было убедиться, что она — жива...

Потом он обидел ее снова, засмеявшись и назвав трусихой, но тут же и объяснил, почему не следовало ей бояться там, на скале, над пропастью. Объяснил так, как будто все знал, был с нею вместе на каменном гребне.

Об открытии, о том, для чего ему нужен лиственничный пень, и о том, как он взглянет на триста лет назад, на триста — вперед, он говорил с ней пренебрежительно: «И до тебя дошло?!» Но тут же он воскресил мотив, который сопутствовал ей, когда она считала хвоинки, когда тоже унеслась в будущее, прикоснулась к открытию. И в душе Онежка была ему благодарна: без него, без этих его слов, она могла бы забыть и тот чудесный мотив, и то настроение. Забыть навсегда...

Теперь Лопарев сказал — все, что она делала в горах, все это пустяки, только «для практики». Ей бы рассердиться, обидеться, разреветься, наговорить ему дерзостей. Но Лопарев спросил ее: «Прочувствовала?» И почему-то это его слово заставило ее поверить, что и в самом деле записи в журнале, показания анероида, шишки, которые она собрала, иголки, которые пересчитала

в пучках — это не главное. Главное — то, что она пережила в горах, «прочувствовала» там, на краю пропасти. И Онежка не заплакала.

Она сказала:

— Там было очень красиво... Когда засверкала радуга...

И только сейчас увидела, как это действительно красиво было: ночь отступает, а навстречу ей мчится, весь в радуге, яркий день, она же стоит над самой пропастью с вытянутыми вперед руками. Ждет... Ждет чего-то. Ах, если бы Михмих был в тот момент у подножья скалы и видел ее, Онежку — всю в радуге на огромной-огромной высоте!

И умный, и глупый Михмих! Ничего он не видел, ничего не знал! Не знал даже, на каком языке говорил он с нею сейчас!

Оглянувшись вокруг, Онежка увидела все те же горы, те же дали, но теперь она убедилась, что не может отказать ни в доверии, ни в любви этому миру, который чуть-чуть не бросил ее в пропасть, едва не погубил... Онежка подумала, что любят, должно быть, не только то, что приносит счастье. Любят, когда знают, что любовь — это испытание. Любят, когда не знают — чего ждать от любви.

Она ничего не знала о Лопареве. Не знала, сколько ему лет, женат ли он, и почему он такой, какой есть — нескладный, резкий, зачем-то всегда готовый ее обидеть...

* * *

В лагере их встретили так, как должны были встретить: никто ничего не заметил, ни о чем не догадался. Только Рита спросила:

— Ну, прогулялась с Лопаревым? — Но спросила потому, что всегда и без всякой необходимости любила в таком духе говорить и спрашивать.

Доктор медицины отметил, что обед готов, но никто не знает, вкусно или нет получилось. Нужно, чтобы Онежка сняла пробу.

Андрей возился с сетками для гербария, не сказал ничего, Рязанцев же уставился на Онежку из-под очков:

— А ведь без вас здесь было плохо... — сказал он. — Неуютно было...

Вечером, уже перед самыми сумерками, Лопарев зачем-то заглянул в палатку девушек. Потянул носом, громко и не один раз:

— Это что же — одеколончик? Духи? Нежности?!

— А разве вы не заметили, уважаемый Михмих, — ответила ему Рита, — что Онежка — лирическая девушка? Подушить вас ее духами? Если начальству не полагается — сделайте для меня исключение!

Никаких исключений Лопарев не признавал и спросил:

— А цветочки? Вся палатка разукрашена цветиками?!

— Она же... Онежка...

— Спальные мешки заправлены конвертиками... Не палатка — детский садик!

— Все она же. Вам не нравится, Михмих?

Лопареву не нравилось. Серьезно не любил Михмих «всякие нежности» в экспедициях. Он Рите не ответил, только нахмурил брови.

Онежки во время этого разговора в палатке не было — она хлопотала у костра, готовила ужин.

В ненастные дни всегда разжигал костер Андрюша Вершинин, потому что дело было не из легких — ни одной щепки, ни одной веточки нельзя было найти сухой вокруг, и Андрюша хранил в своей палатке небольшое полено, от этого полена настругивал стружку и от стружки уже загорался у него огонек, который он передавал из рук в руки Онежке.

Сегодня она почему-то решила разжечь огонь сама, без Андрюшиного участия, хлопотала долго, упорно, покуда нащепала лучинок и обмакнула их в керосин.

Когда же огонь занялся от ее руки, становилось уже сумрачно. Тени поблекли, солнечный свет потускнел, день кончался.

И примечая, как день уходит, как он кончается, Онежка припомнила, что до сих пор все самое радостное и самое значительное в ее короткой жизни наступало тогда, когда что-нибудь обязательно кончалось.

Не было большего события в ее жизни, чем то, которое называлось *окончанием* школы. Потом *кончился* первый учебный год в Лесном институте, второй, третий; *кончались* один за другим семестры, зимние и летние экзаменационные сессии и даже самый желанный день уже не очень далекого теперь будущего, и тот назывался днем *окончания* института.

Нынешний день весь был *началом*...

Когда рассеялись тучи, она пошла с Лопаревым в маршрут, и это было *началом* ее первой работы в лесу. Потом она пересчитывала хвою в пучках лиственницы и нечаянно заглянула в такое далеко, о котором не имела никогда ни малейшего представления. Но, заглянув, поняла, что это тоже только *начало*, что теперь она часто будет бывать там, в будущем.

Сегодня она открыла Лопарева, такого, о котором никогда и никто до сих пор, наверно, не подозревал. Сегодня она и сама открылась себе. От сегодняшнего дня и дальше в ее жизнь, как от какого-то *начала*, продолжатся все эти открытия...

Огонь костра разгорался, становился все сильнее, горячее, Онежка чувствовала его и руками, и лицом. Сырой валежник занимался теперь в этом огне ветка за веткой.

Онежка торопилась, ужин надо было готовить скорее. Сама она вся была полна впечатлениями дня, совсем забыла о еде, но то, что другие ждут с нетерпением ужин — забыть не могла, хорошо знала, что ее хлопоты очень были нужны гордой и красивой Рите Плонской, Биологине, и мечтательному Рязанцеву, и беспомощному кандидату наук и Доктору медицины Реутскому, и всегда чем-то занятому Андрюше Вершинину, которого совсем напрасно, только из-за рваной шляпы, назвали Челкашом.

Все, но каждый по-своему, нуждался здесь в Онежке, и она отвечала тем, что ласково и по-женски заботливо любила тоже всех и каждого по-своему.

Она отчетливо знала, кого и как она любит. Не могла сказать этого только о Лопареве.

Лопареву ей хотелось в чем-то подчиняться, хотелось, чтобы он шел куда-то вперед своим быстрым и размашистым шагом, а она бы торопилась за ним. Хорошо, если бы ей было трудно за ним успевать, так трудно, что Лопарев стал бы помогать ей — вел бы ее за руку, как маленькую девочку.

Такие были у нее незатейливые, но волнующие мечты...

И еще Онежка думала, что открытие — это, должно быть, вовсе не конец чего-нибудь, а начало, начало новых, едва возникших, не совсем еще ясных, но уже сильных желаний...

Владимир БАШУНОВ

«ЖЕЛАНИЕ, КОТОРОЕ ОБМАНЕТ...»

* * *

Как прихотливо движется река:
вот солнце было слева, вот уж справа.
Как хороша береговая справа
в кудрявом окаймленье тальника,
в лугах, в стогах, всхолмленьях за лугами,
где сосны горделиво взнесены,
где зоркий коршун плавает кругами
над чашей оживленной тишины.

Туда бы мне!.. Зачем всегда нас тянет
в чужие, незнакомые места?
Желание, которое обманет:
там та же, что и всюду, маята.

Но каждый раз — но каждый! — из вагона,
автобуса ли, с теплохода ли
зовут те виды, что стоят вдали,
волнует тайна жизни той земли —
как свод ночной, как сны, как время оно.

* * *

На двенадцати подводах едет зимняя ночь,
едет, ленно понукает, не торопится.
Будет времечко подумать, кто задуматься не прочь,
пока небо за окошком поворотится.

Поворачиваясь, небо, не шатаясь, не скрипя,
поворачивает время задом наперед,
точно жемчуг из пучины, ниткой памяти скрепя,
выбирает и выбрасывает на берег.

Любо-дорого забраться одному, без сторожей,
в закоулки прошлой жизни, дальше отчества:
к Шевардинскому редуту от крестьянских мятежей
и в Михайловские пущи одиночества.

Ничего там не поправить, ничего не подсказать,
никого не остеречь там, но сторонкою
незамеченным пробраться вслед за войском под Казань,
неуслышанным наведаться к Саровскому.

Слава Богу, все там живы, все при сердце и уме,
есть на что полюбоваться, где постранствовать,
пока едет непоспешно ночь на горний свет, во тьме
просиявший над российскими пространствами.

РОДНЯ

Я хотел бы пожить незаметно
и неслышно — как дышит трава,
ходит сон, или в думке заветной,
словно в дымке, плывет голова.

Я хотел бы, чтоб время и место
не совпали в глубинах числа,
и нездешняя женщина — Веста
мимо окон огонь пронесла.

И следя это чистое пламя,
и любуясь походкой ее,
я бы вспомнил, какое за нами,
не смолкая, шумит бытие.

И какая громада народа
неотступно идет по пятам,
что в себе схоронила природа,
расселив по укромным местам.

И сознав себя кровною частью
столь обширной, столь славной родни,
я б расслышал в себе их участье,
как мое в них, должно быть, они.

РАДОНИЦА

Опустишься в сон, как в глубокую воду,
и там, в глубине,
пройдешь по любимому сердцем народу —
друзьям и родне.

По тем, с кем уже не увидишься въяве
ни нынче, ни впредь.
Ах, кто не мечтал не в болезни, а в славе
легко умереть.

Но что перед жизнью пустые мечтанья!
Как огненный смерч
приносит с собою испуг и страданье,
так ранняя смерть.

И я не хочу никакого загада —
не стоит гроша,
ведь муку чужого предсмертного взгляда
узнала душа.

И я не хочу, точно птица, попасться
в силки, как в беду.
И в день поминальный, девятый по Пасхе,
я вновь к ним приду.

И вновь я услышу, как дышат могилы,
пресилив тиски,
остатком еще нерастраченной силы,
любви и тоски.

И вновь я увижу, как светел и тонок
небесный оклад.
И женщина плачет. И прячет ребенок
взрослеющий взгляд.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, ИЛИ ПОХВАЛА СОРОКЕ

Снег валился шесть ден, а сегодня прояснело.
Как взялось все сверкать!
Прилетела сорока, уселась на прясле и
принялась стрекотать.

Стрекочи, говорунья, выбалтывай, сплетница,
тайны рощ и полян.
Ты одна между ними и мною посредница,
я ценю твой талант.

Сам я, в лень погруженный, не выберусь из дому,
сам я сплю и не сплю.
Но обличье твое и твой выговор сыздавна
я любил и люблю.

Где летала? чего навидалась? наслышалась
от сестер, от кумы?
Стрекочи, я с тобой полюбуюсь на пышные
именины зимы.
(Топит печи народ, и столбятся над крышами
завитые дымы.)

Что там в рощах моих, на полянах возлюбленных?
Так же ль снеги чисты?
В дни беспечные там возле глаз, возле губ моих
колыхались цветы.

Стрекочи, моя милая... Стал я оглядчивым,
впал я в дрёмь, как в туман.
И никто не зовет меня голосом вкрадчивым
с тех июльских полян.

ПАСТУХ

Под сенью листвы, в пестроте мотыльков,
в чаду испарений
пасутся в низинках стада огоньков
и марьих-корений.

А где же пастух? Не видать пастуха:
ушел без доклада,
оставя одних — далеко ль до греха! —
пастись без догляда?

Ушел, загулял, задремал ли в тени?..
Но чудится облик,
сквозящий повсюду — скажись, не томи! —
как призрачный облак.

Скажись, покажись, заведи разговор,
утишь беспокойство...
Ведь всё ощущает дыханье и взор
особого свойства.

* * *

Столько стыда накопилось за жизнь бестолковую.
Что мне с ним делать? А так уже — век вековать.
Не откреститься теперь, и цыганской подковою
не оберечься, и в печке не сжечь, как тетрадь.

Стыд на душе, снег на дворе, столь намело, даже ночь-темь белеется.
Прямо вкруг сердца вьюги роятся — да что ж это деется!

«Слезка канет,
снег растает,
травка вырастет на ней...»

Детское прошлое, как сквозь окно запотевшее,
видится мне, расплываясь и в тень уходя.
Все ведь так просто, так что же такая потешная
жизнь получается, в ржавчине, как от гвоздя.

Стыд на душе, снег на дворе, ночь как невеста наряжена.
Спирт не берет, сон не валит, память жаканом заряжена.

«Слезка канет,
снег растает,
травка вырастет на ней...»

Варлам ШАЛАМОВ

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Рассказы

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Первым моим бригадиром был Котур, серб, попавший на Колыму после разгрома интернационального клуба в Москве. Котур не относился к своим бригадирским обязанностям серьезно, понимая, что судьба его, как и всех нас, решается не в золотых забоях, а совсем в другом месте. Впрочем, Котур ежедневно ставил нас на работу, замерял со смотрителем результаты, укоризненно качал головой. Результаты были плачевны.

— Ну вот ты — ты знаешь лагерь. Покажи, как надо махать лопатой, — попросил Котур.

Я взял лопату и, раскалывая легкий грунт, накатал тачку. Все засмеялись.

— Так работают только филоны.

— Поговорим об этом через двадцать лет.

Но нам не пришлось поговорить через двадцать лет. На прииск приехал новый начальник, Леонид Михайлович Анисимов. При первом же обходе забоев он снял Котура с работы. И Котур исчез.

Наш бригадир сидел в тачке и не встал при приближении начальника. Тачка, слов нет, приспособлена для работы удачно. Но еще лучше кузов ее приспособлен для отдыха. Трудно встать, подняться с глубокого-глубокого кресла — нужно усилие воли, нужна сила. Котур сидел в тачке и не встал, когда подошел новый начальник, не успел встать. Расстрел.

С приездом нового начальника — сначала он был заместителем начальника прииска — каждый день, каждую ночь из бараков брали и увозили людей. Никто из них не возвращался на прииск. Александров, Кливанский — фамилии стерлись в памяти.

Новое пополнение и вовсе не имело имен. Зимой 1938 года начальство решило пешком отправлять этапы из Магадана на прииски Севера. От колонны в пятьсот человек за пятьсот километров к Ягодному доходило тридцать-сорок. Остальные оседали в пути — обмороженными, голодными, застреленными. По фамилии никого из этих прибывших не звали — это были люди из чужих этапов, неотличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями обморожений на пальцах.

Бригады уменьшались в числе — по дороге на «Серпантинку», на расстрельную командировку Северного управления, день и ночь проходили машины, возвращавшиеся порожняком.

Бригады сливали — людей не хватало, а правительство обещало дать рабсилу, требуя план. Каждый начальник прииска знал, что за людей с него не спросят: еще бы, это самое ценное — люди, кадры. Это все любой начальник изучал в политкружках, а практическую иллюстрацию получал в золотых забоях своего прииска.

К этому времени начальником прииска «Партизан» Северного горного управления был Леонид Михайлович Анисимов, будущий большой начальник Колымы, посвятивший всю жизнь Дальстрою, — начальник Западного управления, начальник Чукотстроя.

Но начинал лагерную карьеру Анисимов на прииске «Партизан», на моем прииске.

Именно при нем прииск был наводнен конвоем, выстроены зоны, управления аппарата «оперов», начались расстрелы целыми бригадами и в одиночку. Начались чтения бесконечных приказов о расстрелах на поверках, разводах. Эти приказы были подписаны полковником Гараниным, но фамилии людей с прииска «Партизан» — а их было очень много названо — выданы Гаранину Анисимовым. Прииск «Партизан» — маленький прииск. На нем всего в 1938 году было две тысячи человек списочного состава. Соседние прииски «Верхний Ат-Урях» и «Штурмовой» были по 12 тысяч населения каждый.

Анисимов был старательным начальником. Я очень хорошо запомнил два личных разговора с гражданином Анисимовым. Первый — в январе 1938 года, когда гражданин Анисимов пожаловал на развод по работам и стоял в стороне, глядя, как его помощники под взглядом начальника вертятся быстрее, чем следовало. Но недостаточно быстро для Анисимова.

Выстраивалась наша бригада, и прораб Сотников, показав на меня пальцем, извлек из рядов и поставил перед Анисимовым.

— Вот филон. Не хочет работать.

— Ты кто?

— Я журналист, писатель.

— Консервные банки ты здесь будешь подписывать. Я спрашиваю — ты кто?

— Забойщик бригады Фирсова, заключенный имярек, срок пять лет.

— Почему не работаешь, почему вредишь государству?

— Я болен, гражданин начальник.

— Чем ты болен, такой здоровый лоб?

— У меня сердце.

— Сердце. У тебя сердце. У меня самого сердце больное. Врачи запретили Дальний Север. Однако я здесь.

— Вы — это другое дело, гражданин начальник.

— Смотри-ка сколько слов в минуту. Ты должен молчать и работать. Подумай, пока не поздно. Расчет с вами будет.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Вторая беседа с Анисимовым была летом, во время дождя, на четвертом участке, где нас держали, промокших насквозь. Мы бурили шурфы. Бригада блатарей давно была отпущена в барак из-за ливня, но мы были «пятьдесят восьмая», и мы стояли в шурфах, неглубоких, по колено. Конвой скрывался от ливня под грибом.

В этот ливень, в этот дождь нас посетил Анисимов вместе с заведующим взрывными работами прииска. Начальник пришел проверить, хорошо ли мы мокнем, выполняется ли его приказ о пятьдесят восьмой статье, которая никаким актировкам не подлежит и которая должна готовиться в рай, в рай, в рай…

Анисимов был в длинном плаще с каким-то особенным капюшоном. Начальник шел, помахивая кожаными перчатками.

Я знал эти перчатки, которые на зимний сезон сменялись меховыми крагами по локоть, знал привычку бить заключенных перчатками по лицу. Перчатки

в действии я видел десятки раз. Об этой особенности Анисимова говорили на «Партизане» много в арестантских бараках. Я был свидетелем бурных дискуссий, чуть не кровавых споров в бараке — бьет ли начальник кулаком, или перчатками, или палкой, или тростью, или плеткой, или прикладывая «ручной револьвер». Человек — сложное существо. Споры эти заканчивались чуть не драками, а ведь участники этих споров — бывшие профессора, партийцы, колхозники, полководцы.

В общем, все хвалили Анисимова: бьет, но кто не бьет. Зато не остается синяков от перчаток Анисимова, а если крагой кому-то он разбил нос в кровь, так и то из-за «патологических изменений самой кровеносной системы человека в результате длительного заключения», как разъяснял один врач, которого в анисимовские времена не допускали до врачебной работы, а заставляли трудиться наравне со всеми.

Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг. Все это было много позже, а тогда, когда мы встретились с гражданином Анисимовым, я был еще в силе, в твердости, в вере, в решении.

Кожаные перчатки Анисимова приблизились, и я приготовил кайло.

Но Анисимов не ударил. Его красивые крупные темно-карие глаза встретились с моим взглядом, и Анисимов отвел глаза в сторону.

— Вот все они такие, — сказал начальник прииска своему спутнику. — Все. Не будет толку.

ХРАБРЫЕ ГЛАЗА

Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна; внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли.

Я вышел из этого мира впервые по медвежьей тропе.

Мы были базой разведки и каждое лето, короткое лето, успевали сделать броски в тайгу — пятидневные походы по руслам ручьев, по истокам безымянных речушек.

Тем, кто на базе — канавы, закопушки, шурфы; тем, кто в походе — сбор образцов. Те, кто на базе — покрепче; те, кто в походе — послабее. Значит, это вечный спорщик Калмаев — искатель справедливости, отказчик.

В разведке строили бараки, и в редколесье таежном свезти вместе спиленные восьмиметровые лиственничные бревна — работа для лошадей. Но лошадей не было, и все бревна перетаскивали люди, с лямками, с веревками, по-бурлацки: раз, два — взяли. Эта работа не понравилась Калмаеву.

— Я вижу, вам нужен трактор, — говорил он десятнику Быстрову на разводе. — Вот и посадите в лагерь трактор, и трелюйте, таскайте деревья. Я не лошадь.

Вторым был пятидесятилетний Пикулев — сибиряк, плотник. Тише Пикулева не было у нас человека. Но десятник Быстров своим опытным, наметанным в лагере глазом уловил у Пикулева одну особенность.

— Что ты за плотник, — говорил Быстров Пикулеву, — если твоя задница все время места ищет. Чуть кончил работу, минуты не постоишь, не шагнешь, а тут же садишься на бревно.

Старику было трудно, но Быстров говорил убедительно.

Третьим был я — старый недруг Быстрова. Еще зимой, еще прошлой зимой, когда меня впервые вывели на работу и я подошел к десятнику, Быстров сказал, с удовольствием повторяя свою любимую остроту, в которую вкладывал всю свою душу, все свое глубочайшее презрение, враждебность и ненависть к таким, как я:

— А вам какую работу прикажете дать — белую или черную?

— Все равно.

— Белой у нас нет. Пойдем копать котлован.

И хотя я знал эту поговорку отлично, и хотя я умел все — всякую работу умел делать не хуже других и другому показать мог, десятник Быстров относился ко мне враждебно. Я, разумеется, не просил, не «лащил», не давал и не обещал взяток — можно было спирт отдать Быстрову. У нас иногда давали спирт. Но, словом, когда потребовался третий человек в поход, Быстров назвал мою фамилию.

Четвертым был договорник, вольнонаемный геолог Махмутов.

Геолог был молод, все знал. В пути сосал то сахар, то шоколад, ел отдельно от нас, доставая из мешочка галеты, консервы. Нам он обещал подстрелить куропатку, тетерку, и верно, два раза на пути хлопали крылья не тетерева, а рябые крылья глухаря, но геолог стрелял, волнуясь и делая промахи. Влет стрелять он не умел. Надежда на то, что нам застрелят птицу, рухнула. Мясные консервы мы варили для геолога в отдельном котелке, но это не считалось нарушением обычая. В бараках заключенных никто не требует делиться едой, а тут и совсем особое положение разных миров. Но все же ночью мы все трое — и Пикулев, и Калмаев, и я — просыпались от хруста костей, чавканья, отрыжки Махмутова. Но это не очень раздражало.

Надежда на дичь была разрушена в первый же день. Мы ставили палатку в сумерках на берегу ручья, который серебряной ниточкой тянулся у наших ног, а на другом берегу была густая трава, метров триста густой травы до следующего правого скалистого берега… Эта трава росла на дне ручья — весной тут заливало все вокруг, и луг, вроде горной поймы, зеленел сейчас вовсю.

Вдруг все насторожились. Сумерки не успели еще сгуститься. По траве, колебля ее, двигался какой-то зверь — медведь, росомаха, рысь. Движения в море травы были видны всем: Пикулев и Калмаев взяли топоры, а Махмутов, чувствуя себя джек-лондоновским героем, снял с плеча и взял на изготовку мелкокалиберку, заряженную жаканом, куском свинца для встречи медведя.

Но кусты кончились — и к нам, ползя на брюхе и виляя хвостом, приблизился щенок Генрих, сын убитой нашей суки Тамары.

Щенок отмахал двадцать километров по тайге и догнал нас. Посоветовавшись, мы прогнали щенка обратно. Он долго не понимал, почему мы так жестоко встречаем его. Но все же понял и снова пополз в траву, и трава снова задвигалась, на этот раз в обратном направлении.

Сумерки сгустились, и следующий наш день начался солнцем, свежим ветром. Мы поднимались по развилкам бесчисленных, бесконечных речушек, искали оползни на склонах, чтобы подвести к обнажениям Махмутова и геолог бы прочел знаки угля. Но земля молчала, и мы двинулись вверх по медвежьей тропе — другого пути не было в этом буреломе, хаосе, сбитом ветрами нескольких столетий в ущелье. Калмаев и Пикулев потащили палатку вверх по ручью, а я и геолог вошли в тайгу, нашли медвежью тропу и, прорубаясь сквозь бурелом, пошли вверх по тропе.

Лиственницы были покрыты зеленью, запах хвои пробивался сквозь тонкий запах тленья умерших стволов — плесень тоже казалась весенней, зеленой, казалась тоже живой, и мертвые стволы исторгали запах жизни. На самом деле это цвет дряхлости, цвет тленья. Но Колыма задавала нам вопросы и потруднее, и сходство жизни и смерти не смущало нас.

Тропа была надежная, старая, проверенная медвежья тропа. Сейчас по ней шли люди, впервые от сотворения мира, геолог с мелкокалиберкой, с геологическим молотком в руках и сзади я, с топором.

Была весна, цвели все цветы сразу, птицы пели все песни сразу, и звери торопились догнать деревья в безумном размножении рода.

Медвежью тропу перегораживал косой мертвый ствол лиственницы, огромный пень, дерево, верхушка которого была сломана бурей, сбита… Когда? Год или двести лет назад? Я не знаю меток столетий, да и есть ли они? Я не знаю, сколько на Колыме стоят на земле бывшие деревья и какие следы на пне год за годом откладывает время.

Живые деревья считают время по кольцам — что ни год, то кольцо. Как отмечается смена для пней, для мертвых деревьев, я не знаю. Сколько времени можно пользоваться умершей лиственницей, разбитой скалой, поваленным бурей лесом — пользоваться для норы, для берлоги, — знают звери. Я этого не знаю. Что заставляет медведя выбирать другую берлогу. Что заставляет зверя ложиться дважды и трижды в одну и ту же нору.

Буря наклонила сломанную лиственницу, но выдернуть из земли не могла — не хватило у бури силы. Сломанный ствол нависал над тропой, и медвежья тропа изгибалась и, обогнув наклоненный мертвый ствол, снова становилась прямой. Можно было легко рассчитать высоту четвероногого зверя.

Махмутов ударил геологическим молотком по стволу, и дерево откликнулось глухим звуком, звуком полого ствола, пустоты. Пустота была дуплом, корой, жизнью. Из дупла прямо на тропу выпала ласка, крошечный зверек. Зверек не исчез в траве, в тайге, в лесу. Ласка подняла на людей глаза, полные отчаяния и бесстрашия. Ласка была на последней минуте беременности — родовые схватки продолжались на тропе, перед нами. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, крикнуть, понять, остановить, геолог выстрелил в ласку в упор из своей берданки, заряженной жаканом, куском свинца для встречи с медведем. Махмутов стрелял плохо не только влет…

Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова, и Махмутов попятился, отступая перед ее взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена, и ласка тащила за собой кровавую кашу еще не рожденных, не родившихся зверьков, детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмутовым были бы далеко от сломанной лиственницы, родились бы и вышли в трудный и серьезный таежный звериный мир.

Я видел, как ползла ласка к Махмутову, видел смелость, злобу, месть, отчаяние в ее глазах. Видел, что там не было страха.

— Сапоги прокусит, стерва, — сказал геолог, пятясь и оберегая свои новенькие болотные сапоги. И, перехватив берданку за ствол, геолог подставил приклад к мордочке умирающей ласки.

Но глаза ласки угасли, и злоба в ее глазах исчезла.

Подошел Пикулев, нагнулся над мертвым зверьком и сказал:

— У нее были храбрые глаза.

Что-то он понял? Или нет? Не знаю. По медвежьей тропе мы вышли на берег речки, к палатке, к месту сбора. Завтра мы начнем обратный путь — только не этой, другой тропой.

СМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Одно из самых главных чувств в лагере — чувство безбрежности унижения, чувство утешения, что всегда, в любом положении, в любых обстоятельствах есть кто-то хуже тебя. Эта ступенчатость многообразна. Это утешение спасительно, и, может быть, в нем скрыт главный секрет человека. Это чувство… Это чувство спасительно, как белый флаг, и в то же время это примирение с непримиримым.

Крист только что спасся от смерти, спасся до завтрашнего дня, не более, ибо завтрашний день арестанта — это та тайна, которую нельзя разгадывать. Крист — раб, червь; червь-то уж наверняка, ибо, кажется, только у червяка из всего мира живого нет сердца.

Крист положен в больницу, сухая пеллагрозная кожа шелушится — морщины написали на лице Криста его последний приговор. Пытаясь на дне своей души, в последних уцелевших клеточках своего костлявого тела найти какую-то силу, физическую и духовную, чтобы прожить до завтрашнего дня, Крист надевает грязный халат санитара, метет палаты, заправляет койки, моет, меряет температуру больным.

Крист уже бог — и новые голодные, новые больные смотрят на Криста как на свою судьбу, как на божество, которое может помочь, может избавить их — от чего, больной и сам не знает. Больной знает только, что перед ним — санитар из больных, который может замолвить слово врачу, и больному дадут пролежать лишний день в больнице. Или даже, выписавшись, передаст свой пост, свою мисочку супа, свой санитарный халат больному. А если этого не будет, не беда — разочарований в жизни бывает много.

Крист надел халат — и стал божеством.

— Я тебе рубашку постираю. Рубашку. В ванной ночью. И высушу на печке.

— Здесь нет воды. Возят.

— Ну сбереги полведра.

Кристу давно хотелось выстирать свою гимнастерку. Он бы и сам выстирал, но валился без ног от усталости. Гимнастерка была прииисковая — вся просолилась от пота, обрывки только, а не гимнастерка. И может быть, первая же стирка превратит эту гимнастерку в прах, в пыль, в тлен. Один карман был оторван, но второй цел, и в нем лежало все, что Кристу почему-то было важно и нужно.

И все-таки нужно было выстирать. Просто больница, Крист — санитар, рубаха грязная… Крист вспомнил, как несколько лет назад его взяли переписывать карточки в хозчасть — карточки декадного довольствия, по проценту выработки. И как все живущие в бараке с Кристом ненавидели его из-за этих бессонных ночей, дающих лишний талон на обед. И как Криста тотчас же продали, «сплавили», обратясь к кому-то из штатных бухгалтеров-бытовиков и показав на ворот Криста, на ворот, по которому выползала голодная, как Крист, вошь. Бледная, как Крист, вошь. И как Крист был в эту же минуту вытащен из конторы чьей-то железной рукой и выброшен на улицу.

Да, лучше было бы выстирать гимнастерку.

— Ты будешь спать, а я постираю. Кусочек хлебца, а если хлеба нет, то так.

У Криста не было хлеба. Но на дне души кто-то кричал, что надо остаться голодным, а рубашку все-таки выстирать. И Крист перестал сопротивляться чужой, страшной воле голодного человека.

Спал Крист, как всегда, забытьем, а не сном.

Месяц назад, когда Крист не лежал еще в больнице, а шатался в огромной толпе доходяг — от столовой до амбулатории, от амбулатории до барака в белой мгле лагерной зоны, — случилась беда. У Криста украли кисет. Пустой кисет, разумеется. Никакой махорки в кисете не было не первый год. Но в кисете Крист хранил — зачем? — фотографии и письма жены, много писем. Много фотографий. И хотя эти письма Крист никогда не перечитывал и фотографии не разглядывал — это было слишком тяжело, — он берег эту пачку до лучшего, наверное, времени. Объяснить было трудно, зачем эти письма, написанные крупным детским почерком, возил Крист по всем своим арестантским путям. При обысках письма не отбирали. Груда писем копилась в кисете. И вот кисет украли. Подумали, наверное, что там деньги, что среди фото вло-

жен какой-нибудь тончайший рубль. Рубля не оказалось… Крист не нашел этих писем никогда. По известным правилам краж, которые блюдутся на воле, блюдутся блатными и теми, кто подражает блатным, документы надо подбрасывать в мусорные ящики, фотографии отсылать по почте или выбрасывать на свалку. Но Крист знал, что эти остатки человечности вытравлены дочиста в колымском мире. Письма сожгли, конечно, в каком-нибудь костре, в лагерной печке, чтобы осветилось внезапно светлым огнем, — писем, конечно, не вернут, не подбросят. Но фотографии, фотографии-то зачем?

— Не найдешь, — сказал Кристу сосед. — Блатные забрали.

— Но им-то зачем?

— Ах ты! Женская фотография?

— Ну да.

— А для сеансу.

И Крист перестал спрашивать.

В кисете Крист держал старые письма. Новое же письмо и фотография — новая маленькая паспортная фотография хранились в левом, единственном кармане гимнастерки.

Крист спал, как всегда, забытьем, а не сном. И проснулся с ощущением: что-то должно быть сегодня хорошее. Вспоминал Крист недолго. Чистая рубашка! Крист сбросил свои тяжелые ноги с топчана и вышел на кухню. Вчерашний больной встретил Криста.

— Сушу, сушу. На печке сушу.

Вдруг Крист почувствовал холодный пот.

— А письмо?

— Какое письмо?

— В кармане.

— Я не расстегивал карманов. Разве мне можно расстегивать ваши карманы?

Крист протянул руки к рубашке. Письмо было цело, влажное сырое письмо. Гимнастерка была почти суха, письмо же было влажное, в потеках воды или слез. Фотография была смыта, стерта, искажена и только общим обликом напоминала лицо, знакомое Кристу.

Буквы письма были стерты, смыты, но Крист знал все письмо наизусть и прочел каждую фразу.

Это было последнее письмо от жены, полученное Кристом. Недолго носил он это письмо. Слова этого письма скоро окончательно выгорели, растворились, да и текст Крист стал помнить нетвердо. Фотография и письмо окончательно стерлись, истлели, исчезли после какой-то особенно тщательной дезинфекции в Магадане на фельдшерских курсах, превративших Криста в истинное, а не выдуманное колымское божество.

За курсы никакая цена не была велика, никакая потеря не казалась чрезмерной.

Так Крист был наказан судьбой. После зрелого размышления через много лет Крист признал, что судьба права — он еще не имел права на стирку своей рубашки чужими руками.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ

Машина гудела, гудела, гудела… Вызывала начальника больницы, объявляла тревогу… А гости уже поднимались по лестничным маршам. На них были напялены белые халаты, и плечи халатов разрывались погонами из-за слишком тесной военным гостям больничной формы.

Опережая всех на две ступеньки, шагал высокий седой человек, фамилию которого в больнице знали все, но в лицо не видел никто.

Было воскресенье, вольнонаемное воскресенье, начальник больницы играл на бильярде с врачами, обыгрывая их всех, — начальнику все проигрывали.

Начальник сразу разгадал ревущий гудок и вытер мел со своих потных пальцев. Послал курьера — сказать, что идет, сейчас придет.

Но гости не ждали.

— Начнем с хирургического…

В хирургическом лежало человек двести, две большие палаты человек по восемьдесят, одна — чистой хирургии, другая — гнойной; в чистой все закрытые переломы, все вывихи. И — послеоперационные маленькие палаты. И — палата умирающих больных гнойного отделения: сепсисы, гангрена.

— Где хирург?

— Уехал на поселок. К сыну. Сын у него там в школе учится.

— А дежурный хирург?

— Дежурный сейчас придет.

Но дежурный хирург Утробин, которого по всей больнице дразнили Угробиным, был пьян и на зов высокого начальства не явился.

По хирургическому высокое начальство сопровождал старший фельдшер из заключенных.

— Нет, нам твои объяснения, твои истории болезни не понадобятся. Мы знаем, как они пишутся, — сказал высокий начальник фельдшеру, входя в большую палату и закрывая за собой дверь. — И начальника больницы пока сюда не пускайте.

Один из адъютантов, майор, занял пост у двери в палату.

— Слушайте, — сказал седой начальник, выходя на середину палаты и обводя рукой койки, стоявшие в два ряда вдоль стен, — слушайте меня. Я новый начальник политуправления Дальстроя. У кого есть переломы, ушибы, которые вы получили в забое или в бараке от десятников, от бригадиров, словом, в результате побоев, подайте голос. Мы приехали расследовать травматизм. Травматизм ужасен. Но мы покончим с этим. Все, кто получил такие травмы, расскажите моему адъютанту. Майор, запишите!

Майор развернул блокнот, достал вечное перо.

— Ну?

— А отморожения, гражданин начальник?

— Отморожения не надо. Только побои.

Я был фельдшером этой палаты. Из восьмидесяти больных — семьдесят были с такими травмами, и в истории болезни все это было записано. Но ни один больной не откликнулся на этот призыв начальства. Никто не верил седому начальнику. Пожалуйся, а потом с тобой сочтутся, не отходя от койки. А так, в благодарность за смирный нрав, за благоразумие подержат в больнице лишний день. Молчать было гораздо выгоднее.

— Вот я — мне руку сломал боец.

— Боец? Разве у нас бойцы бьют заключенных? Наверное, не боец охраны, а какой-нибудь бригадир?

— Да, наверное, бригадир.

— Вот видите, какая у вас плохая память. А ведь такой случай, как мой приезд, — редкость. Я — высший контроль. Мы не позволим бить. Вообще с грубостью, с хулиганством, с матерщиной надо кончать. Я уже выступал на совещании хозяйственного актива. Говорил — если начальник Дальстроя невежлив в своих беседах с начальником управления, а начальник горного управления, распекая начальников приисков, допускал оскорбительную, матерную брань, то как должен говорить начальник прииска с начальниками участков. Это сплошной мат. Но это еще материковый мат. Начальник участка распекает прорабов, бригадиров и мастеров уже на чисто колымском блатном

мате. Что же остается делать мастеру, бригадиру. Брать палку и лупить работяг. Так или не так?

— Так, товарищ начальник, — сказал майор.

— На той же конференции выступал Никишов. Говорит, вы люди новые, Колымы не знаете, здесь условия особые, мораль особая. А я ему сказал: мы приехали сюда работать, и мы будем работать, но мы будем работать не так, как говорит Никишов, а как говорит товарищ Сталин.

— Так, товарищ начальник, — сказал майор.

Больные слышали, что дело дошло до Сталина, и вовсе примолкли.

За дверью толклись заведующие отделениями, их уже вызвали с квартир, стоял начальник больницы, дожидаясь конца речи высокого начальника.

— Снимают Никишова, что ли, — предположил Байков, заведующий вторым терапевтическим отделением, но на него шикнули, и он умолк.

Начальник политуправления вышел из палаты и поздоровался с врачами за руку.

— Перекусить прошу, — сказал начальник больницы. — Обед на столе.

— Нет, нет. — Начальник политуправления посмотрел на часы. — Надо ехать, к ночи попасть в Западное, в Сусуман. Завтра совещание. А впрочем… Только не обедать. А вот что. Дайте портфель. — Седой начальник взял тяжелый портфель из рук майора. — Вы глюкозу мне можете сделать?

— Глюкозу? — сказал начальник больницы, не понимая.

— Ну да, глюкозу. Укол сделать внутривенный. Я ведь не пью ничего спиртного с детства… Не курю. Но через день делаю глюкозу. Двадцать кубиков глюкозы внутривенно. Мне мой врач еще в Москве посоветовал. И что вы думаете? Лучшее тонизирующее. Лучше всех женьшеней, всяких тестостеронов. Я всегда вожу глюкозу с собой. А шприц не вожу — уколы мне делают в любой больнице. Вот сделайте мне укол.

— Я не умею, — сказал начальник больницы. — Я лучше жгут подержу. Вот дежурный хирург — тому и карты в руки.

— Нет, — сказал дежурный хирург, — я тоже не умею. Это, товарищ начальник, такие уколы делает не всякий врач.

— Ну, фельдшер…

— У нас нет вольнонаемных фельдшеров.

— А этот?

— Этот из зэка.

— Странно. Ну все равно… Ты можешь сделать?

— Могу, — сказал я.

— Кипяти шприц.

Я вскипятил шприц, остудил. Седой начальник вынул из портфеля коробку с глюкозой, начальник больницы облил руки спиртом и вместе с парторгом отбил стекло и всосал раствор глюкозы в шприц. Начальник больницы надел на шприц иглу, передал мне шприц в руки и, взяв резиновый жгут, затянул руку высокого начальника; я ввел глюкозу, придавил ваткой место укола.

— У меня вены — как у грузчика, — милостиво пошутил начальник со мной.

Я промолчал.

— Ну, отдохнул — пора и ехать. — Седой начальник встал.

— А в терапевтические? — сказал начальник больницы, боясь, что если гости вернутся для осмотра терапевтических больных, то ему будет обязательно выговор, что вовремя не напомнил.

— В терапевтических нам нечего делать, — сказал начальник политуправления. — У нас целевая поездка.

— А обедать?

— Никаких обедов. Дело прежде всего.

Машина загудела, и автомобиль начальника политуправления исчез в морозной мгле.

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

С тридцатого года пошла эта мода: продавать инженеров. Лагерь имел доход немалый от продажи на сторону носителей технических знаний. Лагерь получал полную ставку, и из нее вычиталось питание арестанта, одежда, конвой, следовательский аппарат, даже ГУЛАГ. Но после вычета всех коммунальных расходов оставалась приличная сумма. Эта сумма вовсе не поступала в руки арестанта или на его текущий счет. Нет. Сумма поступала в доход государства, и заключенный получал вполне произвольные премиальные, которых хватало иногда на пачку папирос «Пушка», а иногда и на несколько пачек. Лагерное начальство поумнее добивалось от Москвы разрешения платить пусть малый, но определенный процент заработка, отдавать эту сумму в руки арестанту. Но разрешения на такой расчет от Москвы не давалось, и инженерам платили произвольно. Как, впрочем, и землекопам, и плотникам. Правительство почему-то боялось даже иллюзии зарплаты, превращая ее в награду, и называя эту зарплату «премией».

В числе первых инженеров-заключенных, проданных лагерем на строительство, в нашем лагерном отделении был Виктор Петрович Финдикаки, сосед мой по бараку.

Виктор Петрович Финдикаки — срок пять лет, статья пятьдесят восьмая, пункты семь и одиннадцать — был первым русским инженером, поставившим, это было на Украине, прокатку цветных металлов. Его работы по специальности хорошо известны в русской технике, и, когда Виктору Петровичу предложил новый хозяин — Березниковский химкомбинат — отредактировать учебную книжку по специальности, Виктор Петрович взялся за эту работу с энтузиазмом, но скоро погрустнел, и я с трудом добился от Виктора Петровича причины его огорчения.

Виктор Петрович без тени улыбки объяснил, что в редактируемом им учебнике встречается слово «вредит», — и он везде вычеркнул это слово. Заменил словом «препятствует». Теперь эти результаты у начальства.

Правка Виктора Петровича не встретила возражения у начальства, и Виктор Петрович остался на инженерной должности.

Пустяк, конечно. Но для Виктора Петровича это было дело серьезное, принципиальное, а почему — сейчас объясню.

Виктор Петрович был человеком «расколовшимся», как говорят блатные и лагерные начальники. На своем процессе он помогал следствию, участвовал в очных ставках, был запуган, сбит с ног и растоптан. И кажется, не только в переносном смысле. Виктор Петрович прошел несколько «конвейеров», как это стало называться повсюду через четыре-пять лет.

Начальник производственного лагеря Павел Петрович Миллер знал Финдикаки по тюрьме. И хотя сам Миллер выдержал конвейеры и плюхи, получив десять лет, он как-то безразлично относился к проступку Виктора Петровича. Сам же Виктор Петрович мучился своим предательством ужасно. По всем этим вредительским делам были расстрелы. Понемножку, правда, но расстреливали уже. Приехал в лагерь шахтинец Бояршинов — и тоже как будто недружелюбно беседовал с Финдикаки.

Сознание какого-то провала, нравственного падения безмерного не оставляло Финдикаки долго. Виктор Петрович (его койка в бараке стояла рядом с моей) не хотел даже работать на какой-нибудь блатной, привилегированной

должности: бригадиром, десятником или помощником самого Павла Петровича Миллера.

Финдикаки был человек физически крепкий, невысок, широкоплеч. Помню, немного он удивил Миллера, когда попросился в бригаду грузчиков на содовый завод. Бригада эта, не имея вольного хождения, вызывалась из лагеря на содовый завод в любое время суток для погрузки или разгрузки вагонов. Быстрота работы была тем преимуществом, которое из-за угрозы железнодорожного штрафа администрация содового завода ценила очень высоко. Миллер посоветовал инженеру поговорить с бригадиром грузчиков. Юдин, бригадир, жил тут же в бараке и расхохотался, выслушав просьбу Финдикаки. Природный пахан Юдин не любил белоручек, инженеров, вообще ученых. Но, уступая желанию Миллера, взял Финдикаки в свою бригаду.

С той поры мы встречались с Финдикаки редко, хотя и спали рядом.

Прошло какое-то время, и в Химстрой понадобился умный раб, ученый раб. Понадобился инженерный мозг. Есть работа для Финдикаки. Но Виктор Петрович отказался: «Нет, я не хочу возвращаться в мир, где мне каждое слово ненавистно, каждый технический термин будто язык стукачей, лексикон предателей». Миллер пожал плечами, и Финдикаки продолжал работать грузчиком.

Но скоро Финдикаки немножко остыл, судебная травма стала немножко сглаживаться. В лагерь прибыли другие инженеры, расколотые. К ним Виктор Петрович приглядывался. Живут и не умирают ни от собственного стыда, ни от презрения окружающих. Да и бойкота никакого нет — люди как люди. И Виктор Петрович стал немножко жалеть о своем капризе, о своем мальчишестве.

Снова вышла инженерная должность на строительстве, и Миллер — через него шло ходатайство начальнику — отказал нескольким только прибывшим инженерам. Виктор Петрович был спрошен еще раз — и согласился. Но назначение вызвало резкий, дикий протест бригадира грузчиков: «Для какой-то конторской работы у меня снимают лучшего грузчика. Нет, Павел Петрович. Блат поломан. Я до Берзина дойду, а всех вас разоблачу».

Началось действительное следствие о вредительстве Миллера, но, к счастью, кто-то из прежнего начальства сделал внушение бригадиру грузчиков. И Виктор Петрович Финдикаки вернулся на инженерную работу.

По-прежнему мы стали засыпать вместе — наши топчаны стояли рядом. Снова я слышал, как Финдикаки шептал перед сном, как молитву: «Жизнь — это говно. Говенная штука». Пять лет.

Ни тон, ни текст заклинания Виктора Петровича не изменились.

Николай САМОХИН

ПОСЛЕДНИЙ ЧУДАК

Рассказ

Я пришел на обменный пункт, видимо, одним из последних. Народ там, как накануне, уже не толпился. Тихо было.

Голову я принес в коробке из-под шляпы, обложив ее предварительно ватой. Поверх ваты была еще пергаментная бумага, и все это я перетянул бечевкой.

— Господи! — сказала девушка-приемщица, сердито дергая неподдающийся шпагат. — Закутали-то, закутали!

— А поосторожней нельзя? — не выдержал я. — Голова все-таки...

— Не понимаю — чего люди трясутся, — оказала девушка своей напарнице. — Ведь сейчас получит новую. Такую еще голову выдадут вместо этой рухляди.

— У вас так не рухлядь! — обиделся я.

— Нам давно поменяли, — сказала девушка.

— Оно и видно.

— Что вам видно? — спросила девушка. — Напрасно иронизируете, гражданин. Головы очень хорошие. Предусмотрено даже знание трех иностранных языков.

Она порылась в картотеке.

— Вы поэт, значит? Что-то не слыхала такого поэта.

— На иностранных языках не пишу, — отпарировал я.

— Хм, — сказала девушка. — Поэт-поэт... Муся! Что там у нас осталось из поэтов?

— Два песенника, баснописец и переводчик, — сообщила Муся.

— Какие еще песенники?! — заволновался я. — У меня же совершенно другое направление. Песенники, понимаешь, какие-то!..

— Вы бы еще попозже заявились! — сказала девушка. — Хорошо хоть эти остались... Что же мне с вами делать? Ума не приложу...

— А может, девятьсот седьмую? — посоветовала напарница.

— Еще чего! — оборвала ее первая девушка. — Забыла распоряжение Георгия Суреновича?

Муся испуганно прикусила язык.

— А чем вам, собственно, не нравятся песенники? — спросила девушка. — Будете как этот... «а я все гляжу, глаз не отвожу».

— Нет уж, благодарю, — сказал я, забирая обратно голову. — Где тут у вас главный?

— Пожалуйста! — дернула плечиком девушка. — Муся, проводи. Кажется, я вам ничего такого не сказала. Сами же... То не нравится, другое не нравится.

— Что вы! Очень мило поговорили! — горячо заверил я ее. — Просто не каждый день приходится менять голову — нервничаешь.

В кабинете начальника обменного пункта меня ждал сюрприз. Из-за стола поднялся Жора Сосискян, старый друг — мы с ним еще в университете учились.

— Здорово, Сосиска! — обрадовался я. — Принимаешь гостей?

— Это кто же к нам пожаловал? — растерянно улыбаясь, сказал Жора (он не узнавал меня без головы). — Кто же это пришел... в сереньком костюмчике?

— Это я пришел, — сказал я и назвал свою фамилию.

— Фу ты! — облегченно вздохнул Жора. — А я смотрю, смотрю — знакомая походка. А это вот, значит, кто.

— Жора, — начал я, — тут мне, понимаешь, песенника какого-то сватают. Я, конечно, не Пушкин...

— Да не волнуйся! — сказал Жора. — Не переживай. Отложена для тебя головка. Номер девятьсот семь... Вот, дорогой! — оживился вдруг он. — Дожили, понимаешь! Могли мы разве мечтать об этом?!

— Куда там! — осторожно сказал я, не совсем понимая, к чему он клонит.

— Раньше как было, — наклонился ко мне Жора, — полная зависимость от болезней, разных там потрясений, я уже не говорю о возрастных изменениях. Допустим, продырявилась у тебя память. Склероз, так сказать. Куда от него денешься, а?

— Да, склероз, — грустно подтвердил я. — Уж от него никуда...

— А теперь? — сказал Жора, и глаза его засверкали.

— Теперь? — откликнулся я.

— Сдаешь это барахло, — сказал Жора, — и получаешь новую голову, не подверженную заболеваниям, инфекциям, депрессиям...

— Высокостойкую, значит, — заметил я.

— Именно, — кивнул Жора. — А кроме того, с нестареющей памятью, абсолютно правильным мировоззрением и гарантией от временных заблуждений.

— Как, и это предусмотрено? — спросил я.

— Ну разумеется. — Тут Жора перешел на интимный полушепот. — Послушай, дорогой, я тебя очень уважаю, но знаешь, какой резонанс получило твое последнее стихотворение?

— Кхм, — кашлянул я. — Интересно.

Жора достал уже знакомую мне карточку.

— Так, — прищурился он. — Ну, тут повышение производительности труда на ноль целых восемьдесят три десятитысячных процента в сфере коммунального обслуживания, две парфюмерные фабрики перевыполнили квартальные планы, обязательства сотрудников одного института и кое-что еще — из области положительного воздействия... Но вместе с тем! — Жора поднял палец. — Шофер такси Букина Эсфирь совершила преднамеренный наезд на диктора телевидения товарища Бабарышника; учащиеся ГПТУ Мудрик и Полоухин вырезали гладиолусы на городской клумбе; двенадцать ночных сторожей подали заявление об увольнении по собственному желанию и, наконец, некто Левандовский из оркестра народных инструментов...

— Венька! — перебил я.

— Возможно, — сухо сказал Жора. — Некто Левандовский ударил собеседника по голове домброй... А теперь скажи: можем мы такое допускать?

— Ну-у, — сказал я. — Видишь ли... Что касается Веньки, то вряд ли тут мои стихи... Он их и не читает сроду...

— Не можем мы такое допускать! — твердо ответил на свой вопрос Жора.

— Так-так, — вздохнул я. — Значит теперь этот Бабарышник будет спокойно гулять, и никто на него, сукина сына, уже не сможет наехать?

— Ну да! — радостно подтвердил Жора. — Если случайно не попадет.

— Случайно он не попадет, — сказал я. — Чего захотел.

— Скажешь тоже, дорогой! — рассмеялся Жора. — Разве я хочу? Пусть живет... Ладно, — закруглил он. — Сейчас распоряжусь, чтобы тебе выдали девятьсот седьмую...

— Погоди, — удержал я его. — Не торопись... Слушай, Сосискян, ты меня давно знаешь... Скажи, я просил когда-нибудь для себя исключительных благ?

— Н-ну! — оказал Жора. — Знаем твою скромность.

— Может, с черного хода чего-нибудь тащил или по блату доставал?

— Зачем такое говоришь? — расстроился Жора.

— Ну вот, — сказал я. — Не просил до сегодняшнего дня. Это в первый и последний раз.

— Понимаю! — вспыхнул Жора. — Понимаю, — повторил он и заерзал.

Потом перегнулся ко мне через стол и сказал:

— Имеется одна невостребованная. Готовили для академика... Только как старому другу, дорогой...

— Тю! — замахал руками я. — Катись ты со своим академиком! Я о другом! Ты мне только выпиши справку: дескать, гражданин такой-то голову поменял. И все. А я уж заберу эту свою. Тем более ее еще и распаковать не успели.

— Справок не даем, — официально сказал Жора, — Отрезали эту бюрократию. Навсегда... Здесь, — он похлопал рукой по какому-то лысому прибору. — Здесь все фиксируется. Обменял — зафиксирует, не обменял — пеняй на себя.

— Да-а, — задумался я. — А может, подобрать что-нибудь из брака? Что-нибудь похожее на прежнюю?

— Тебе как лучше стараешься, — обиженно сказал Жора. — а ты... понимаешь. — Он нажал кнопку и спросил в микрофон: — Товарищ Маточкина, как там у нас сегодня? Одна? А что за дефекты?

Жора усилил звук, и мне стало слышно, как женский голос перечисляет: «Склероз, депрессивные приступы, головокружения, мигрень».

— Господи, Жора! — вскочил я. — Это же почти моя голова!

— Положим, мигрени-то у тебя не было, — буркнул он.

— Эх, Сосиска! — сказал я. — Уж к мигрени я как-нибудь привыкну!

Через час я вышел из обменного пункта. На плечах у меня была моя новая старая голова. В кулаке я сжимал две таблетки. Это Сосискян дал мне их на прощанье. «Возьми, — сказал, — они сладкие. Кисловатые такие. После этого дела три часа нельзя думать, а без таблеток все равно думается».

Мимо бежала собака. Я хотел бросить ей таблетки, но пожалел. За что же ей такая обида — три часа не думать.

Бросил таблетки в урну.

Анатолий СОКОЛОВ

«ГОРОЖАНКА ТОСКУЕТ В ГРОЗУ...»

* * *

Здесь транспорт идет через две остановки,
И сохнет бельишко дешевле веревки,
И злая жена исподлобья глядит,
Как молодость чахнет и бедность смердит.

Здесь дерзкий подросток читает в трамвае
Статьи о барачно-палаточном рае.
Он больше не верит шершавой звезде
И ищет невесту в дворянском гнезде.

Отсюда идет пополнение тюрем,
Из окон, завешенных марлей и тюлем,
Доносятся жалобы вдов и сирот,
Здесь носит ножи запрещенный народ.

За мусорной кучей нелепой игрушкой,
Нахохлившись, в сумерках дремлет церквушка.
Навеки забыта людьми и творцом,
С морщинистым, грязным и кротким лицом.

Шныряет сквозняк под родительским кровом,
И ангел планирует в небе багровом,
И клячу истории гонит поэт
Кривляться на сцене своих оперетт.

И тело в согласии с вычурной модой
Расшатано утром безумной свободой,
А к вечеру тащится с тяжким трудом
Из кожи с костями построенный дом.

Готовясь за море отплыть из Сибири,
С тоской тяжелее купеческой гири,
Тайга под крылом самолета орет...
Привычно московское радио врет.

Пекутся в издательствах пышные книги,
И звезды срывают с небес прощелыги,
И смолоду копят богатство и злость,
Чтоб Родину-мать бросить псам, словно кость.

* * *

Круша цветочные розетки,
Играет ливень в биллиард
И вздохи парочки в беседке
Оценивает в миллиард.
Должно быть, местный парикмахер
С буфетчицей забрел сюда,
Кусты похожи на монахинь,
Зажмурившихся от стыда.
И в паузе приставив ухо
К решетке, вымытой до швов,
Дождь слушает, но слышит... эхо
Давно разыгранных шаров.

* * *

В. Клименко

Летит голубая моторка
По глади широкой реки,
Хмельных продавщиц военторга
Везут с ветерком мужики.
Воды шелковистая пряжа
И шепот прибрежных ракит,
Мозолистый окорок пляжа
Пробудит к любви аппетит.
И страшно любить, и приятно,
Ты вечно к любви не готов…
Лохмотья реки неопрятной
Кромсают десятки винтов.
Прочь, остров в зеленой порфире,
Где дремлет в траве от жары
Прекрасная нечисть Сибири:
Клещи, муравьи, комары …
Да здравствует жизнь скоростная
На фоне инертной страны,
К ней рвешься душой, забывая,
Что годы твои сочтены.
Лети, голубая моторка,
Распарывай швы у реки,
Лети до Москвы и Нью-Йорка,
Пока не взорвется подкорка
От приступа черной тоски.
Подвергнуть забвению тщится
Душа накопившийся сор,
И жадно глядит продавщица
В открывшийся водный простор.
А где-нибудь в Новосибирске
Питомец бетонных громад
Лет десять, как шейх аравийский,
Реки не вкушал аромат...
С душою темней россомахи
Случайный старик городской
Придет погасить свои страхи
Волной желто-серой обской.

* * *

Жестоко в городе январском
По окнам бьет метели плеть.
Ты, сытый злобой и коварством,
Решаешь завтра умереть.
Как школьник, выучив уроки,
Откроешь серый, пыльный том:
«Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом».
Какое море, ветер, парус!
Что кинул он в краю родном?
Бог сыплет с неба звезд стеклярус
На мэрию и на роддом.
В квартире все тебе не мило,
В тумане пуля ищет грудь
У Лермонтова Михаила,
И не блестит кремнистый путь.

* * *

Уже не так, как раньше, мучит
Обиды горькая полынь.
И опыт пошлой жизни учит:
Нет ни героев, ни святынь.
История — возня в лакейской
Из-за доходов и чинов…
Все брызги слякоти житейской
В тебя попали, Соколов?

* * *

Под березкой худой и поникшей
Горожанка тоскует в грозу
По Христу, по Толстому, по Ницше,
А по мне не уронит слезу.
Жмутся лошади ночью к телегам,
Будто к ним привязали магнит,
И звезда над изношенным снегом
В темноте еле-еле горит.
Лошадь в городе сделалась лишней,
Авеню иномарки шерстят…
Что ж ты жадно вдыхаешь, гаишник,
Испарений бензиновых яд?
Обожаю пиры и ночевки
В помещенье, где грязь и клопы,
В недрах малолитражной хрущевки,
Ненавистной родной скорлупы.
От авансов любви кровожадной
До утра откажусь наотрез,
Ночь на голову прыгает жабой,
Словно мокрый, холодный компресс.
И мелодией песни заветной,
Кончив спор между «быть» и «иметь»,
Неожиданно и незаметно
Сон ломает меня, как медведь.

* * *

Пока танцует дворник возле булочной,
Зима в сентябрь является царевной,
С ее приходом станет жизнь рассудочной,
С ума сойдешь от нищеты душевной.
Смешались в кучу листьев тарабарщина,
Вороний грай и хриплый лай собачий,
Вдруг пожелаешь по примеру Гаршина
Разбиться насмерть, прыгнув с крыши дачи.
Хотя в честь двадцать первого столетия
Шумит оркестр на Выборной фальшиво,
Летают листья, словно междометия,
Танцует сквер, как многорукий Шива.
Весь день апофеозом невезения
Царь мух жужжит в пространстве междурамном,
Невозмутимо в небеса осенние
Взмывает шар над Вознесенским храмом…
Один поэт новосибирский вечером
В тоске самоубийства ест варенье,
Хрустят дожди, подруга смотрит глетчером…
Тогда-то и восходит вдохновенье.

* * *

Двуногое в перьях во тьме закричит кукареку,
И звери домашние станут от голода выть,
С кисельного берега брошусь в молочную реку,
Заранее зная, что мне ее не переплыть.

В такие мгновения все вспоминается снова:
Короткие слезы от дыма затопленных бань,
Тяжелая, нежная пыль большака продувного,
Где сбоку сложил свои ржавые кости комбайн.

Блины да картошка и злая заморская сказка,
Лай уличных псов под лучом однорогой луны,
И кажется, будто тевтонские рыцари в касках —
Висят на заборе кастрюли, пимы, чугуны...

Крути ни крути, мы продукты крестьянской работы,
Что б ни говорили о наших корнях доброхоты.
В родимой деревне, где в каждом окне по цветку,
Внутри кукареку поют, а снаружи — ку-ку.

Пусть каждый земляк будет в новую жизнь переизбран,
Но первыми встанут из гроба отец мой и мать...
Всего за три сотки души поклонюсь в ноги избам
И вновь в опостылевший город уйду умирать.

* * *

Снег над деревьями кружится белой вороной,
Мир на корню, серебра не жалея, скупая.
Выдернув провод змеи из души телефонной,
Ночь раздевает на ощупь себя, как слепая.

Ревность вонзает в меня металлический коготь,
Лишь вспоминаю тебя обнаженной до края,
Дали бы нежные губы губами потрогать,
Я бы от счастья взлетел с тобой в небо, родная!
Снова на сучьях бугрится рассыпчатый иней,
Снег под ногами скрипит скорлупою яичной,
Пусть мне дороги заказаны в терем к княгине,
Буду один куковать я в ночлежке кирпичной.
В теплой постели меня обнимает истома,
Жизнь тяжела, беспросветна, но спать еще рано —
Я до утра буду медленно пить из альбома
Солнечный мед репродукций Ватто Антуана.

* * *

В. Ярцеву

Липы на задворках поликлиники
Жертвуют имущество на храм.
С веток светло-желтые полтинники
Сыплются на землю по утрам.
Рай зажжется к вечеру неоновый,
Вспухнет одиночества синдром.
Нет со мной Арины Родионовны,
Друга нет и кружки нет с вином.
Мне луна в окно глядит неласково,
Сон прельстил мечтой и был таков.
Языка обрывки тарабарского,
Мешанина стуков и звонков.
С химзавода облако зловония
Накрывает Кировский район,
Но какая чудная симфония
Зазвучала вдруг со всех сторон…
Над гусинобродскими оврагами,
Над военным в доску городком
Новобранец-снег идет зигзагами,
Словно выпил лишнего с дружком.
Снег идет нежней и нерешительней,
Чем родные братья: дождь и град,
И следит за снегом горстка жителей,
Гордых, будто выиграли грант.

* * *

Дорогая, давай полетаем,
Навсегда улетим в никуда.
Скоро жизнь до конца пролистаем,
Взвесим прибыль ночного труда.
На прощание с именем Божьим
Постоим у родимых могил…
Неужели увидеть не сможем
Всех, кто нас беззаветно любил?
Вопреки предсказаньям науки,
Скоро грянет назначенный час —
И придут сюда дети и внуки
Безнадежно оплакивать нас.

Ветер мусор гоняет по пляжу
И поет, словно нищий метек.
И как раки в кастрюле, все пляшет и пляшет
Чернь из баров и дискотек.

* * *

Еще белы от нафталина шубы,
Но утром невпопад
Целует тебя в пряничные губы
Случайный снегопад.
Он нерешителен, как будто бы в разведке
Во вражеском тылу —
Запечатлеет снегирей на ветке,
Собаку на углу.
Потом начнет шататься врассыпную
И жизнь твою теснить,
И душу беспризорную, больную
Не миловать — казнить.

* * *

Василию Соколову

В трезвон колокольный с звонками пустого трамвая
Вмешался гудок парохода с открытой реки...
Я сплю, и летает по комнате мама живая,
И стелет по полу лоскутные половики.
И бабушка, в гости приехав, вздыхает, не плачет,
Молитву творит и у Господа просит: прости...
Десяток яиц в узелке и пшеничный калачик
Для внука она сберегла, голодая в пути.
Ах, бабушка Анна, с тобой не пришлось мне проститься,
И вряд ли могилку твою я найду в Ерестной.
Нет памятней в жизни того дорогого гостинца —
Когда это было? Наверное, ранней весной…
Повеяло влажным теплом из добротного хлева,
И вспомнил вкус черных картошин из недр чугуна,
Корова стояла там гордая, как королева,
Под нею на корточках благоговела страна...
Скорбит Богоматерь с младенцем на темной иконе,
И страхи растут, будто близятся судные дни:
Ужели засохли мои деревенские корни,
Ужели в деревне совсем не осталось родни?
Ужели и я, расцветавший в стране нелюдимой,
Где папа в шинели и мама в тяжелом пальто,
Как легкий листок, оторвавшись от ветки родимой,
Лечу в неизвестность, лечу, превращаясь в ничто?
Молчи, не мычи с хомутами печали на шее:
Холодная печка в избе, и не светят огни...
Мы стали разборчивей, жестче, хитрей и умнее,
Но так бескорыстно не можем любить, как они.

Николай МЯСНИКОВ

СТАРЫЙ МАКЛАЙ

Рассказ

I.

Вот там, за лесопилкой, это север.

Там дальше Томск, и Васюганские болота, и Могочино, и Коломенские пески, и Нижневартовск. А потом тундра, Обская губа, а дальше и совсем — страх...

Здесь, за огородом, это восток.

Отсюда его не видно, но это из-за сосен.

Если идти в этом направлении, то за соснами будет наше деревенское кладбище. Хорошее кладбище, ухоженное. Красиво там.

Потом снова пойдут сосны. Там мы землянику собираем.

Дальше начинается березняк. Там клубники полно, и подберезовики тоже там.

Потом пойдут заброшенные поля, на которых молодые сосенки щеткой стоят, и березовые колки.

И если вот так вот прямо идти, то дальше вы пройдете мимо Бурятии, мимо Хакасии... Кяхта и Селенгинск где-то сбоку останутся. Монголия и Китай у вас окажутся немного правее, а выйдете вы прямо к берегу Тихого океана.

Направо по берегу, краем, пройдете через Китай и берегом, берегом придете в Корею.

А там переплыть в Японию очень просто.

Вот там солнце и восходит. За Японскими островами. И из Японии это лучше всего видно…

Здесь, в эту сторону, у нас будет юг.

Вон там — залив, их еще на реке затонами называют. Там мы рыбу ловим. Там и щука, и окунь, и судак туда заходит. А осенью туда сорога на нерест идет. Крупная, жирная, икряная. Чуть не в килограмм весом встречается.

И карась там есть, тоже крупный. Но странный какой-то. Видно, скрестился с кем-то. Карасевую-то икру любая рыба опыляет. Вот гибриды и получаются. В этом деле карась на ваших городских девчонок похож...

А юг чуть левее залива будет.

И если идти в эту сторону, то придете вы в теплые страны. Тут уж не ошибешься. Они там везде — и справа, и слева, да хоть и прямо идите.

Главное, не залезать в горы. В горах холодно. А где уж гор нет, там везде тепло…

А вон там, за рекой, это запад. Вот такой он и есть, а не то, что в телевизоре показывают…

Это отсюда, с крыльца, на тридцать пять верст видно. А если залезть на крышу, да с подзорной трубой...

Простор — глядеть не переглядеть. Но я туда не хочу. Нет.

Здесь у нас все есть. Свое.

Живу я здесь в качестве Миклухо-Маклая.

И я думаю, что все Миклухо-Маклаи, или почти все, это беглецы. Все они торопятся не куда-нибудь, а откуда-то.

Что уж тут удивляться, что в конце концов все они оказываются бог знает где.

Надо сказать, что деревня — место для бегства не совсем подходящее. Убежать сюда довольно легко. Но выбраться потом отсюда уже почти невозможно.

Человек рассудительный должен бежать в такое место, где есть деньги и где их можно заработать. Чтобы снова сбежать, если такая нужда возникнет.

В деревне денег давно уже нет.

Мы тут живем натуральным обменом и взаимным зачетом всяких хозяйственных услуг. Вот поэтому выбраться отсюда трудно. Денег на дорогу не хватит. Разве только пешком...

Но для Миклух и Маклаев здесь рай. Это точно.

Каждого, кто ко мне приезжает впервые, я обязательно предупреждаю, что здесь у нас не столько деревня, сколько естественная психологическая обсерватория.

Все над этим смеются. Их очень веселит это словосочетание: психологическая обсерватория.

И с этой минуты Миклухо-Маклай уже может приступать к своим совсем не обязательным исследованиям: наблюдать человека в непривычной для него среде. Это в городе он имеет какой-то вес в мире искусства. А здесь он просто обычный человек. Только он этого не знает...

Почему-то сюда ко мне чаще всего художники и поэты приезжают.

Тут бы я грустно вздохнул...

То, что в городе выглядит серьезно и внушительно, на нашем огороде выглядит... довольно-таки... не всегда. И это печально.

Кроме того, каждый Маклай, живущий в деревне, хочет он этого или нет, вынужден наблюдать еще и жизнь постоянных обитателей этого места.

И это тоже печально.

Сидишь тут на перекрестке двух миров, и каждый из них живет в своем времени. И они совсем не понимают друг друга.

Два разных мира смотрят на меня с двух сторон и искренне недоумевают: а ты-то, Маклай, что тут делаешь? Ты чей — наш или ихний? Что тебе надо-то?

— Ваш, — отвечаю я обоим мирам одновременно.

И отворачиваюсь. Смотрю в пространство...

Но тут замечаю, что и пространство тоже смотрит на нас. И в его внимательном взгляде тоже таится какой-то вопрос...

II.

Любой достаточно внимательный человек очень скоро заметит, что самая трудная работа в деревне, а иногда и довольно неприятная, это вовсе не весенние посадки, и не ежедневный полив огорода, и не переработка урожая, который каждое лето не знаешь, куда и девать.

Это вовсе не покосы, не строительные дела и заботы, и даже не стирка пододеяльников в тазу при помощи куска хозяйственного мыла.

Нет, нет и нет.

Это не заготовка дров или смена подгнивших столбов в заборе.

И не осенняя ловля мышей, когда их притягивает домашнее тепло, и они сгрызают в доме все, даже то, что есть категорически нельзя. Рукописи, рисунки, кожаную кепку, сумку, забытую кем-то и давно висящую на стене.

Нет, вовсе нет.

Самая трудная работа в деревне — это простое человеческое общение.

И дело не в том, что сельские жители, особенно те, кто не сильно отягощен хозяйством, искренне убеждены, что лето это самый подходящий сезон для пьянства. Ведь съезжаются дачники, к ним из города едут гости, и у каждого — у каждого! — в машине обязательно есть бутылка. Тут главное вовремя к ним подсесть — и пей, сколько есть. Или сколько нальют...

И люди из города тоже глубоко убеждены, что вся природа именно для того и существует. Приехал. Посмотрел. Водки выпил. Поехал обратно. Что там еще делать-то?

— А как же лес? — удивляется Маклай. — И наша река?

Ее нельзя посмотреть. С ней нужно жить, как со старшей женой, всю жизнь, до самого конца, до гробовой доски. А иначе — что ты о ней узнаешь?

Нет, дело совсем не в пьянстве. В нем ведь тоже есть своя прелесть...

Вся беда в том, что человек удивительно предсказуем, и предсказуем он даже в тот момент вдохновения, когда в состоянии душевного подъема осуществляет свой творческий подход к жизни.

И от этой предсказуемости иногда становится тошно.

Все роли расписаны, тексты выучены наизусть, остается только неблагодарный труд обычного исполнителя — без сцены, без понимающего зрителя, без оваций. Время, отпущенное нам на жизнь, утекает от нас, не наполненное ничем...

И эта предсказуемость слов и поступков постоянно возвращает Миклухо-Маклая к одной и той же мысли: что же это такое?

Деградация? Ритуал? Игра? Глупость?

Бог его знает...

Наверное, все вместе.

* * *

У русского тоталитаризма было вполне деревенское лицо. Так думает Миклухо-Маклай. И Маркс с Энгельсом не имеют к этому безобразию ни малейшего отношения. Потому что родился он здесь, в русской деревне, и жить ему тут еще очень долго.

Здесь все под контролем. Каждое действие учтено, истолковано, и посчитан каждый хвостик редиски на соседском огороде. Ни одно движение человека не остается без немедленной оценки общества.

Это тоже наше, родное. Людей всегда мало, а общество всюду есть. Другой раз невозможно понять, из кого же оно все-таки состоит?

Ну, казалось бы, живет человек на природе, среди живописных красот, среди мирных и скромных животных, дышит свежим воздухом, пьет чистую воду и крепко спит по ночам. Неужели он может злиться? Завидовать? Носить черный камень за пазухой?

Ведь стоит только приподнять глаза — и вот он, сосновый лес — во всей своей красе. Любуйся им, сколько хочешь.

Можно бросить взгляд в другую сторону и увидеть молчаливые воды великой реки, со спокойной уверенностью делающей свою вечную работу.

Можно поглядеть вверх — и опрокинуться в синюю глубину бездонного неба. И застыть, наблюдая, как ветер играет пушинками облаков.

Можно смотреть на закат, слушая ту торжественную тишину, которая наступает в мире в тот момент, когда солнце соскальзывает с пылающего неба за черную линию горизонта.

И можно часами сидеть ночью на деревянном крыльце, глядя на мерцание бесконечной россыпи звезд...

Нет. Сельский житель все это давно видел и теперь этими вещами интересуется мало. Ему гораздо важнее вдруг разогнуться, поставить свою лопату у стены покосившегося сарая, или бросить свой молоток на прогнившее крыльцо, или оставить посреди двора груду деталей от заглохшего автомобильного двигателя — только для того, чтобы сделать несколько шагов к забору и окинуть хозяйским взглядом соседний двор или соседский огород.

Если говорить серьезно, то для этого важного дела можно даже залезть на крышу.

— Что он там насадил-то? — громко спрашивает он свою жену, вглядываясь в пространство соседнего огорода. — Тыквы, что ли? Во дает! Куда ему столько?

Миклухо-Маклай слушает это обсуждение, занимаясь своими делами, и думает: «А ведь редкий сосед долетит до середины Днепра... Не может он без меня. Нет, не может...»

И Маклай с трудом разгибает спину, поднимается из самой чащи помидорных джунглей и громко отвечает соседу:

— Хочу, вот, твоей корове отдать. Для радикального улучшения аппетита.

— Куда тебе столько?! Что ты с ними делать будешь? — переключается сосед на него. — Вон сколько они места занимают! Лучше бы картошку посадил, сдал ее по осени перекупщикам, и все.

— Да, — соглашается Маклай, — что-то я не подумал... Это по пяти рублей за ведро, так с сотки... сколько же это будет?.. почти двести рублей! Значит, посадил десять соток, выкопал, продал, и считай, что за электричество почти рассчитался... Это бизнес, это бизнес... Останется только налоги заплатить.

— Почему по пяти-то? — меняет тон сосед. — Подымут они цену, поди... Все-таки год прошел. Должны хоть маленько поднять.

— Поднимут, — соглашается Маклай, — если приедут. А не приедут, так пусть прежняя цена остается… — и вдруг вспоминает: — Я уж на днях Макаровне предлагал: давай, говорю, картошку друг другу продавать будем.

— Это зачем? — проявляет сосед живую заинтересованность.

— Как зачем? — удивляется Маклай. — Вон, в соседней деревне все брагу ставят и друг другу ее продают.

— И что? — недоверчиво интересуется сосед.

— Ничего. Все пьяные и все при деньгах...

Сосед уходит обдумывать эту странную мысль, и Маклай снова погружается в помидорные заросли, обрывая пасынки и выщипывая мелкие сорняки в лунках.

— Нет, — спрашивает сосед свою жену. — Зачем ему тыкв столько? Может, у него покупатель есть? Поди, договорился с кем-то...

И в состоянии глубокой задумчивости сосед берет в руки свою лопату...

В этот момент у забора Маклая останавливаются какие-то незнакомые женщины с той же самой задачей — внимательно и подробно изучить чужой огород.

— А помидор-то насадил! — всплескивает руками одна.

— Да уж! — громко отзывается другая. — Макаровна говорила: больше ста корней он насадил. И зачем это? У него ни скотины, ничего нету. Куда их девать-то будет? Вот скотину б держал, так корове бросил, и все. Не знаю, зачем это.

Тут третья начинает что-то горячо говорить, переходя на шепот, и они медленно удаляются.

— Да ты что! — доносится до ушей Маклая изумленное восклицание.

— Нет, ты послушай. Самое главное...

И она снова переходит на шепот.

— Эх, бабы, — вздыхает Маклай в своей помидорной роще. — Мало вам телевизора. Вы еще из своей жизни сериалы устраиваете...

Через некоторое время вновь доносятся какие-то голоса:

— Смотри-ка! Он забор поменял!

— Ха! Горбыль поставил.

— А что тебе горбыль? Скотина не лезет, и ладно.

— Нет. С улицы тут вагонкой надо. Вон, Пантелеевы какой забор себе сделали.

— У Пантелеевых сын в городе магазин держит. Им что?.. А вагонка-то, она знаешь сколько стоит? Забор дороже дома обойдется.

— А что им, городским, деньги? — вмешивается сиплый голос. — Это у нас тут... на курево не хватает.

— Да уж, — насмешливо возражает кто-то. — У этих городских деньги... Они тут на днях с этим, с поэтом, загуляли. Не хуже Кабаевых!

— Это которого Кабаева? Саньки, что ли? Я его хорошо знаю...

Эх, думает Миклухо-Маклай, привычно выщипывая сорняки. Не надо вводить единомыслие в России. Оно давно у нас есть...

Выдать всем надзирательскую форму... и пусть работают бесплатно. А кто откажется ее носить — тех под надзор. По пятницам драть плетьми за горбыль. По субботам — за вагонку... Розгами. Если кто выпьет — расстреливать. А кто не выпил — бить его, сволочь, пока не выпьет. Он же, дрянь, нами брезгует...

...Есть тут, в деревне, один глухой. Вот ведь счастливый человек...

Рядом большая река молча несет свои воды...

* * *

Во двор решительно вваливается какое-то незнакомое, очень опухшее существо желто-синей расцветки, как флаг самостийной Украины. Сквозь синие расплывшиеся наколки просвечивают старые пожелтевшие синяки. Существо нагло смотрит в выцветшие глаза Маклая и резко отдает команду:

— Ну что, хозяин, наливай!

— А ты принес? — спокойно спрашивает Маклай.

— Не. А что, у тебя нету?

— Нет.

— Ну, давай, я сбегаю.

— Сбегай. Давай, сбегай, — задумчиво соглашается Маклай. — Купи полбутылки. Только для себя.

Жовто-блакитный застывает с обескураженным видом. Что-то пытается сообразить... Но соображается ему трудно. Он присаживается на скамеечку, делает серьезные глаза и начинает разговор о жизни, постоянно сбиваясь на свое тюремное прошлое. Пугает...

Маклай дает ему разговориться и обрывает его тяжким вздохом:

— Тут все сидели, братка, — грустно говорит он. — И у всех серьезные статьи. И у каждого по четыре ходки… И ничего. Живут себе спокойно. Один ты бегаешь по деревне: я сидел! Я сидел! Ну?

Желто-синий смотрит изумленно, и Маклай продолжает:

— Ну, сидел. По малолетке, небось. По хулиганке... Наколок там себе понаделал и теперь сам себя боишься. И людей норовишь пугать. Рецидивист! Ей-богу, рецидивист!

Желто-синий молчит, внимательно глядя на Маклая.

— Ладно, — говорит Маклай, — некогда мне сидеть тут с тобой. Давай, рецидивист. Давай...

И добавляет:

— Люди уже по железной дороге украли. И теперь водку пьют. А у меня еще картошка не полота... Да и тебе еще бутылку где-то слямзить надо.

— Почему слямзить-то? — неожиданно возмущается «рецидивист».

— Ты же блатной. Тебе работать вредно. Иди…

Желто-синий останавливается возле калитки и спрашивает:

— А вас как звать-то?

— Маклай, — отвечает Маклай.

И ловит недоверчивый взгляд.

— Иди, рецидивист, иди...

Жалко их. Жалко.

Все на чувствах у них, как у девочек. И простодушные такие же. И у каждого звереныш внутри...

Простые, как палка. Потому-то и жалко...

* * *

Вот слышится нетерпеливый автомобильный сигнал, калитка открывается, и во двор входят люди.

— Он точно здесь живет?

— Здесь, здесь. Мы уже тут были.

— Ой, какой двор большой, — удивленно произносит женский голос.

— А это что такое?

— Баня, наверное. Или сарай...

— А это что растет?

— Кустик какой-то, — уверенно отвечает авторитетный голос. — Посадил что-нибудь.

— А где он сам-то?

— Сейчас будем искать. Может быть, найдем...

— А где у него огород?

— Огород у него вот отсюда и до самого леса.

— Мак, ты где? Выходи, тут к тебе гости приехали.

Маклай спускается с чердака. Здоровается с гостями.

— Ну, проходите, — говорит он, — куда-нибудь...

— А куда проходить?

— Хоть куда, — отвечает Маклай. — Тут все наше. Чай поставить? Или сразу уху?

— Мак, мы все привезли. Ничего не надо. Ты лучше огород покажи.

— Пойдемте, — говорит Маклай и ведет всех на огород.

— Ой! — восклицает кто-то. — Это все твое?

— Мое, — отвечает Маклай.

— А зачем тебе столько?

— Исключительно для красоты и изобилия.

И добавляет:

— Чем шире огород, тем дальше соседи. Чем дальше соседи, тем ближе тишина.

— А что это растет? — тонкий женский пальчик указывает на грядку.

— Это морковка.

— Правда морковка? У нее такие листики?

— Да.

— А это?

— Пастернак.

— А это что?

— Базилик.

— А это?

— Кинза. Кориандр.
— Фу, вонючая какая... А это сорняки или что-то полезное?
— Это табак.
— Что, настоящий? Даже курить можно?
— Можно, — привычно отвечает Маклай.
— А зачем тебе пастернак?

* * *

Огородная экскурсия заканчивается.

Мужчины усаживаются за стол, стоящий под старой яблоней, женщины суетятся на кухне.

Маклай стоит между ними, решая сложный вопрос: присоединиться ли к мужчинам, чтобы не мешать женскому кухонному вдохновению, или идти на кухню, чтобы помочь женщинам разобраться в этом сложном хозяйстве?

— Мак, садись, посиди с нами. Разберутся они там без тебя.

И он послушно садится за стол.

— Ну, что? — говорит самый нетерпеливый. — Может, по маленькой? Пока они там готовят...

— Наливай, — отвечают ему.

Маклай вместе со всеми берется за стопку, но тут в проеме двери появляется кудрявая головка:

— Мак, а где у тебя соль? Что-то я ее найти не могу.

— Соль на столе, — отвечает Маклай. Осторожно ставит свою стопку и идет показывать, где стоит соль.

— Зелени нарвать? — спрашивает он женщин.

— Да! — отвечают они с энтузиазмом. — Давайте какой-нибудь салатик сделаем!

Маклай идет на огород, рвет зелень и снова садится за стол.

— Ты что? Не выпил еще? А мы тут уже по второй налили.

— Сейчас я вас догоню, — обещает Маклай.

Он поднимает стопку, но не успевает донести до рта. В проеме двери снова появляется женская головка:

— Мак, покажи, как у тебя плитка включается.

Он аккуратно ставит стопку на стол и идет показывать, как включается плитка.

— Чай сейчас заварить или попозже? — спрашивают женщины у него.

— Не знаю, — отвечает Маклай. — Как хотите. Или квасу холодного принести?

— А что, есть квас?

— Есть. У меня все есть.

— Да что ж ты молчал? Мы бы уже окрошку сделали! Неси.

Маклай идет в дом и лезет в подпол за квасом.

Потом он снова садится за стол.

— Где ты ходишь? Водка прокиснет!

— Не успеет, — возражает Маклай и берется за стопку. И снова не успевает донести до рта.

— Мак! А помельче картошка есть? Нам в мундирах ее надо сварить.

— Сейчас.

Маклай ставит стопку, берет ведро и спускается в погреб. Относит на кухню полведра мелкой картошки и снова садится за стол. Но не успевает поднять свою стопку.

Потому что из кухни снова доносится голос:

— Мак, мы про свеклу забыли. Принеси одну свеколку.

— Свеклу-то зачем? Вы что, борщ варите?

— Окрошку делаем. Это рецепт такой.

— Окрошку нельзя делать по рецепту! — начинает волноваться Маклай. — Это еда! Ее готовят по вдохновению! А по рецепту готовят только мерзкие лекарства.

— Ты увидишь, все будет очень вкусно.

— Не увижу, — упрямо возражает Маклай. — Потому что зажмурюсь и буду пить водку на ощупь.

— А как будешь закусывать?

— Буду запивать слезами. Горькими слезами, — мрачно произносит он, поднимается из-за стола и снова идет в погреб.

Выбирает пару красивых свекол и садится на нижнюю ступеньку лестницы.

— Господи, спаси и помилуй, — тихо бормочет он.

В это время чья-то тень закрывает падающий сверху свет, и он снова слышит знакомый голос:

— Мак, а варенье у тебя есть?

— Для окрошки? — строго спрашивает Маклай.

И снимает с полки банку черничного варенья.

— Сейчас напьюсь, — задумчиво говорит он, усаживаясь за стол.

— Да ладно, Мак. Не обращай внимания. Пусть делают как хотят.

Некоторое время он сосредоточенно смотрит на прозрачную жидкость в своей стопке, потом протягивает к ней руку, но закончить это движение не успевает.

— Мак, а у тебя нет какой-нибудь чашки побольше? В эту салат не входит.

И он идет искать чашку...

* * *

Все долго сидят за столом.

Говорят о последних выставках, называют какие-то полузабытые имена. Всплывает имя знакомого художника, который продал несколько картин и купил себе новую машину. Мужчины сразу оживают и переходят к обсуждению сугубо автомобильных вопросов.

С автомобилей разговор незаметно переходит на компьютеры. Начинают мелькать слова из какого-то неизвестного лексикона: мегабайт, провайдер, модемы, чаты...

— За грибами-то завтра пойдете? — спрашивает Маклай.

— А что, уже грибы есть?

— Есть. Уже и черника пошла.

— И белые есть?

— Есть.

— А клещей нынче много?

— В этом году как будто нет. В то лето их много было.

— Ой, нет, — дружно отвечает женский хор. — Мы в лес не пойдем. Нам клещей не надо. Еще энцефалита нам не хватало...

— А можно и на берег, — говорит Маклай. — Можно и сеточку заодно поставить. Пока купаемся, что-нибудь поймаем...

— Только давайте без рыбалки, — присоединяются мужчины к дружному женскому сообществу. — Вон, по телевизору каждый день говорят, что вся рыба в реке заражена описторхозом.

— А вы их слушайте, — отмахивается Маклай. — Они там сидят в четырех стенах и света белого не видят. А новости, хоть какие, все равно придумывать надо. Вот и придумывают…

— Ладно, — зевает кто-то. — Не будем мозги греть. Завтра как-нибудь разберемся...

Женщины поднимаются из-за стола и уходят стелить постели.

Маклай смотрит на полную луну, всплывающую над лесом.

— Вот так всегда: как полнолуние, так и бутылка на столе...

В этот момент из дома доносится скрежет металла и грохот падающих вещей. Маклай идет узнать причину этого шума и с ужасом обнаруживает, что женщины пытаются переставить его кровать.

— Что вы делаете?! — изумленно восклицает он. — Зачем?..

— Мак, не мешай, — отвечают ему занятые делом женщины. — Мы сейчас тут все переставим, и тебе будет удобнее.

— Тут нельзя ничего переставлять! Тут каждая вещь стоит так, как надо.

Женщины еще раз пытаются приподнять кровать, но понимают, что это им вряд ли удастся: ножки кровати крепко запутались в груде тех крайне необходимых вещей, которые обычно именно под кроватью и хранятся. Ящик с сетями, медный таз для варенья, электродрель и фуганок, две пары зимних сапог, запчасти к бензопиле, фильтр для очистки самогона и много что еще.

— Ладно, — сдаются женщины, — давайте стелить.

— Правильно, — говорит Маклай. — Стелите. А кровать стоит так, как ей положено стоять. Головой на восток.

— Почему именно на восток?

— Чтобы плыть в ней навстречу солнцу...

Кровать стоит головой на восток. Дверь открывается на север — в сторону силы и тьмы. Окна смотрят на юг и на запад — в сторону слабости и смерти. Но об этом лучше не говорить. Потому что тебя могут спросить: какой еще смерти? И тогда надо будет ответить: вашей...

* * *

Утром он просыпается первым. Идет на летнюю кухню. Варит себе кофе, отмечая в состоянии своего тела явные следы вчерашнего застолья.

Пьет кофе, курит, снова пьет кофе...

Снова курит. И идет на огород.

Потому что мелкая огородная работа — самое лучшее средство от всех дурных состояний и настроений.

Он пропалывает грядки лука и моркови, рыхлит междурядья и идет выпалывать траву вокруг капусты. Устает сидеть на корточках, разгибается и возвращается на кухню, чтобы заварить чай.

Снова сидит на крыльце, курит, поглядывая на редкие облака, пытаясь по их форме и направлению движения определить погоду на ближайшие дни.

И снова уходит на огород.

Гости начинают просыпаться к одиннадцати, когда солнце уже хорошо припекает. Долго умываются, рассаживаются вокруг стола, на котором неизвестно откуда уже появилось пиво в больших пластиковых бутылях.

— Мак! Иди пивка выпей.

— Иду, — отвечает Маклай. — Я его сегодня честно заработал.

И он появляется с тяпкой в руках и еще каким-то странным инструментом, несколько напоминающим клюкарзу, которую используют в своей работе скульпторы.

Женщины изумленно смотрят на его огородные штаны с огромными разноцветными заплатами и такими же огромными дырами на штанинах.

— Ужас, — произносит одна.

— Класс! — восхищенно восклицает другая.

— Хорошие штаны, — благодушно соглашается Маклай. — Еще японский император говорил: старые вещи нельзя выбрасывать. Такие вещи надо отдавать лучшим мастерам, чтобы те использовали их как достойные образцы. Хороший, видно, был человек. Тоже любил в старости на огороде покопаться.

— Это ты про кого?

— Про японского императора.

— Да их ведь много было.

— Уж и не вспомню, который из них, — говорит Маклай. — Это же лет восемьсот прошло...

— Ну, что? На берег едем?

— Давайте искупнемся!

— Давайте. А пиво с собой возьмем. Может, кто водочки хочет?

— А не рано?

— Что ж рано-то? Выходной день, на природе, на свежем воздухе...

— Ладно, бросай ее в машину, на берегу разберемся.

Женщины идут надевать купальники, мужчины грузят в машину сумки с продуктами. Где-то рядом в полуденной тишине раздается нежная трель. Все останавливаются, прислушиваясь.

— Кто это?

— Коршун, — отвечает Маклай и показывает на столб, на котором сидит крупная птица.

— Надо же... Хищник, а так красиво поет.

— Среди певцов много хищников.

— А среди поэтов?

— Эти все хищники.

— А художники?

— И художники. Кроме самых больших.

— А самые большие? Ты их к травоядным относишь?

— Нет. Те крупнее, чем хищники. Это драконы!

— Мы готовы! — торжественно объявляют женщины.

— Нет, подождите, — спохватывается Маклай. — Я же свой купальник забыл!

И идет в дом, чтобы взять сумку с мелкой рыболовной сетью...

* * *

Берег встречает их легким ветерком.

Машины оставляют в тени деревьев. Все выходят на песок, быстро сбрасывают с себя одежду и бросаются в воду.

Маклай неторопливо проплывает несколько шагов и выходит из воды. Достает из сумки сеть, привязывает к ее концам большие грузила и снова заходит в воду, чуть в стороне от купающихся.

— Господи, благослови, — трижды произносит он и опускает на дно первое грузило. Потом идет вниз по течению, привычно сбрасывая сеть с руки, пока последний груз тоже не ложится на дно.

— Господи, благослови, господи, благослови, господи, благослови, — бормочет он, выходя из воды.

На берегу уже расстелено покрывало, на котором расположились стаканы, кружки, тарелки с закусками и бутылки с напитками.

— Ну, что? Все-таки поставил сеть?

— Поставил.

— Ну, тогда выпей что-нибудь.

— Самая страшная проблема, — вздыхает Маклай, внимательно изучая стол, — для советского человека... это проблема выбора...

И он берет два стакана, в один наливает пиво, в другой — немного водки.

— Мучительная проблема решена быстро и радикально!

— Да! — гордо восклицает Маклай.

День течет неторопливо. Люди разбредаются по берегу, купаются, что-то фотографируют и фотографируются сами. Маклай лежит на песке, ощущая

всем телом и этот песок, и легкое движение воздуха над ним, и солнечное тепло.

— Рыба-то будет?

— Будет, — отвечает он и идет проверять сеть.

Вода приятно охлаждает тело, ноги ступают по твердому песчаному дну. Маклай находит в воде притонувший поплавок, берется за верхнюю тетиву и слышит, как в сети бьется рыба.

— Есть, — объявляет он.

Приподнимает сеть, и из воды показывается изгибающееся тело молодого судачка, широко растопырившего свои перышки. Маклай выпутывает его и опускает в мешок, край которого приходится держать в зубах.

Он проходит всю сеть, вынимая рыбу — чебаков, окуней и мелкого судака, и в самом конце ее обнаруживает довольно крупную щуку.

Все сходятся посмотреть улов, удивляются, разглядывая взбрыкивающую поверх мелочи щуку.

— А она-то каким образом в чебачевку попала?

— Зубами зацепилась. Гналась за кем-то, разинув рот, — говорит Маклай. — Это всегда так... Как только разинешь рот на что-нибудь хорошее, так тут же и вляпался. Это мы по себе знаем...

— Котел-то взяли? Может, ухи сварим?

— Описторхоз! — дружно произносят дамы.

— Боже мой! — огорченно произносит Маклай. — Это очень плохое слово. Его нельзя произносить на берегу. И женщины не должны знать таких слов. Это хуже любой матерщины...

* * *

День клонится к вечеру.

Гости начинают собираться, боясь опоздать на последний паром. Маклай прощается с ними у ворот.

— Приезжайте, — говорит он. — Нельзя же все лето сидеть в городе. Это ж никакой город не выдержит. Столько народу...

— Ну, счастливо оставаться, — отвечают ему. — Мы к тебе еще приедем. С делами маленько разгребемся и приедем. Хорошо здесь...

— Приезжайте, — повторяет Маклай. — А я тут пока всех клещей переловлю. Чтобы не страшно было заходить в лес.

— Приедем...

Машины отъезжают. Маклай смотрит им вслед, закрывает за собой калитку и идет в летнюю кухню, чтобы навести там порядок.

Собирает оставшиеся закуски, убирает их в холодильник, и обнаруживает в нем бутылку пива и бутылку водки.

— Надо же! — удивленно произносит он.

Наливает себе стопку и медленно выпивает, глядя на окурки и смятые фантики, разбросанные вокруг крыльца.

Потом он долго курит, разглядывая покосившиеся ворота, старую лиственницу, посаженную старухой-соседкой когда-то очень давно, когда она еще не была старухой, а была молодой и красивой. И острой на язык...

Дальше, за лиственницей, видны полузаброшенные огороды, заросшие бурьяном и крапивой, и за ними — река во всей своей красоте...

Когда-то Маклай тоже жил в городе. И тоже писал какие-то картины. И тоже устраивал выставки, на которые собиралось много народу. И даже написал несколько книжек, изданных в разное время и под разными именами.

И точно так же он крутился летом, пытаясь быстро разгрести самые неотложные дела, чтобы вырваться в лес за грибами или сбежать на несколько дней на берег — рыбачить...

А потом мир искусства постепенно потерял для него свою привлекательность. Может быть, потому, что порождает слишком много иллюзий. А может быть, оттого, что в какой-то момент ему стало понятно, что и художники, и писатели, и поэты — это узкие специалисты. Слишком узкие.

Одни — по продаже картин. Другие — по продаже слов.

И как узкие специалисты, глубоко погрузившиеся в свою очень специфическую деятельность, они постепенно теряют интерес к жизни. Той самой жизни, что раньше побуждала их брать в руки кисть или торопливо записывать внезапные слова на любом попавшем под руку клочке бумаги.

И жизнь тоже постепенно теряет к ним свой интерес. Куда-то уходит...

А люди остаются в своем узком искривленном пространстве, где можно механически-равнодушно набрасывать пятна краски на чистый холст и так же механически можно играть словами, которые все равно будут проданы по установившейся цене...

— Ладно, — вздыхает Маклай. — Надо прибраться немного...

Достает ржавое ведро и начинает собирать в него мусор.

Наверное, к этому просто надо привыкнуть, говорит себе Маклай, выбирая из травы окурки.

Все изменилось. Мир стал другим.

Теперь хозяева охраняют своих собак. Собаки своевольно дрессируют своих обиженных хозяев.

Все, что существует в живом мире природы, уже утратило свои имена. Любые деревья называются словом «дерево», любой кустарник называется словом «кустик», любая птица — просто «птичка», любая рыба — просто «рыба». И все полевые цветы вдруг лишились своих имен, кроме одуванчиков и ромашек.

И лес нас пугает по-прежнему, как когда-то пугал наших прабабок. Только они боялись лешего. А нас пугает отсутствие в лесу тротуаров и указателей, из-за чего там легко можно заблудиться, и еще — всякие мелкие насекомые, которые могут нас укусить, и тогда мы можем заразиться энцефалитом.

Потому что мы не верим в судьбу. Верим в случай...

И река нас пугает. Только не хитрыми русалками и вредным водяным, а описторхозом, который обязательно у нас заведется, если мы похлебаем свежей ухи.

Но если эту же рыбу покупать на базаре, то это уже не страшно, потому что купленная рыба в нашем сознании связана исключительно с торговлей и к реке не имеет никакого отношения.

Это страхи научно обоснованные, то есть вполне современные, а быть современным человеком уже нисколько не стыдно. Даже если тебя немного дрессирует собака и может запросто искусать энцефалит.

Вот, говорит себе Миклухо-Маклай.

Посуду мы будем мыть завтра. Только завтра. Совсем завтра.

Но мыть мы ее будем в приступе искреннего энтузиазма.

III.

А так у нас здесь хорошо.

И земля здесь хорошая, все на этой земле само растет. Даже то, что не садил никогда.

И река здесь хорошая, широкая. И рыба здесь водится. И водяной здесь есть.

От нашей деревни до того берега километра четыре с половиной будет. По осени ветра сильные бывают, тогда штормит. Как раз в то время, когда мы рыбачим. Сорога в это время хорошо идет, да и судак за ней. Бывает, что и

гибнут мужики. Как раз в это время и гибнут. С водяным осторожнее надо. Он шутить очень любит.

И лес здесь хороший, богатый. Все в этом лесу есть. И ягоды, и грибы, и птица, и зверь есть. Бывает, пока за грибами ходишь, штук семь глухарей спугнешь.

А дорог сколько в лесу! Каждый день можно новой дорогой идти. Но — все равно, какой дорогой ни пойдешь, только в лес и придешь... И заблудиться можно. Другой раз возле дороги туда-сюда ходишь, а дорогу никак найти не можешь.

А бывает так, что осенью выйдешь в лес за опенками — тишина кругом, воздух прозрачный — а сзади леший за тобой ходит. За левым плечом он всегда держится. Идет за тобой и сухие сучки с деревьев сбивает. А ты только удивляешься: слева сучки сами собой с деревьев опадают, а справа ни одного не упадет. И ветра нет... Видно, скучно ему осенью.

А зимой тоже бывает, что охотник какой-нибудь в лесу заблудится да и погибнет. Это все он безобразничает. От скуки. Лес спит, а лешему и заняться нечем.

Духи тут всякие есть: и на земле, и в воде, и в воздухе — каких только нет. И каждый чем-то своим занимается.

Да и деревенские наши — столкнешься с ним в сумерках и не сразу поймешь, человек ли это или злой дух человеком прикинулся. И городские тоже... бывает...

А летом — тут уж везде благодать — и на огороде, и на реке, и в лесу...

Все у нас здесь есть. Все.

Кроме денег.

Но деньги — есть они или нет — это ведь судьба. Кому-то они даются как наказание за грехи. Хлопотно ведь с большими деньгами. А кому-то и не даются... А без них тоже туго.

Все у нас здесь есть... Музыки вот охота. Моцарта послушать.

Позвать сюда хороший оркестр. Пусть едут, прокормим. Женский хор из Германии… Чтобы на его родном языке пели.

И рано утром рассадить их в конце огорода, где мы давно уже не пашем, — среди синих цветов шалфея, и желтых хризантем, и диких мальв, цветущих нежным розовым цветом.

Рояль поставить на траву возле черемухи.

Музыкантов во фраках — посадить полукругом на белые стульчики. А хор поставить справа, среди цветов.

Выйти к ним и сказать:

— Сыграйте мне Реквием!

И когда они начнут свое волшебное дело, лечь на землю между картофелем и подсолнухами, раскинуть руки, ощущая затылком и лопатками огромное звонкое тело планеты, и плыть вместе с ним на живых волнах этой музыки навстречу восходящему солнцу...

Жизни хочется. Света. Тепла.

Владимир ЯРЦЕВ

В ГОД ЗАТМЕНИЯ СОЛНЦА

* * *

Перед тем как уйти,
Запотевшие стекла протру —
Поутру ощути
Переменного света игру.

Выйди в страждущий сад
И к дичку невзначай прикоснись,
Как слепец, наугад, —
И смутится небесная высь.

Ближе к полдню, гляди,
Заморочена голубизна…
Тесно станет в груди.
Так бывает во все времена.

Древний, как мезозой,
Цепенеет над яблоней зной.
…Перед скорой грозой
Воздух плавится не надо мной.

ИКОНА

Отпевали бабушку. Прицерковный парк
Был заснеженным. Не каркало воронье.
Завещала старая свой нехитрый скарб
По игле-платку всем, кто знал ее.

А икону главную — никому в родне,
И товарок милостью обошла.
А икону главную — завещала мне,
Забулдыге, грешнику… Вот дела.

«В жизни ты один, как осенний лист,
Ветер дунул — по свету полетел.
Ты иконке той, не стыдись, — молись,
Чтобы светлым был дальний твой предел».

Черной краской поверху имена троих
С указанием занимаемых должностей.
Лишь разок взглянуть — и запомнить их:
«Св. Пр. Петр», «Св. Ц. Елена», «Св. Бл. Андрей».

Помутнела киноварь. Золото отцвело.
И кресты осыпались на груди.
В глухомани ветхое отыщи село —
Образов таких там хоть пруд пруди.

Для болящих душ, для скорбящих глаз,
Для нуждой придавленных деревень
Малевал их сотнями богомаз,
Беспробудно путая ночь и день.

У иконы бабушкиной неприглядный вид,
Не прельстится ей даже «Вторсырье».
Я не верю, что она меня сохранит.
Знаю только: я сохраню ее.

СТАНСЫ

Безмолвию я предпочту молчанье,
Прохладе горней — дольний холодок.
…Вас время оправдает, угличане,
Но мир не станет менее жесток.

Жизнь сузилась. Сквозь смотровую щель
Доступен лишь сегмент июльской воли,
Где первобытный освящает шмель
Не минное, но клеверное поле.

Далекие клубятся облака.
Их глубину зарница прорицает.
Дитя не спит. И матери рука
Звездой на лбу младенческом мерцает.

Ничем печали этой не унять.
Беззвучен миг прощания со Словом.
Да! — не забудьте плакальщиц нанять
В сиреневом, под цвет грозы, в лиловом…

* * *

Ненастное небо беззвездно.
Случайные звезды — не в счет.
Рассвет, наступающий поздно,
Разлуку тебе принесет.

Она не заплачет, не вскрикнет,
Не кинется в нервную дрожь,
Но молча всем телом приникнет,
А ты — ничего не поймешь.

Лишь лет через двадцать заметишь
Мольбу в предрассветных глазах.
И в ужасе шаг свой замедлишь.
И в жарких проснешься слезах.

* * *

Дождь не дождь, шелестящий на идиш
Полукровка, канва для шитья.
Замуж словно на улицу выйдешь,
Чтоб кого-то спасти от дождя.

Погребок — промежуточный финиш.
Угощает кривой караим.
Ну зачем ты себя половинишь?
Не светло мы с тобою горим.

Отчего откровенно неволишь
Бедный дух, что и так невесом?
Кто ты есть для мздоимца? Всего лишь
Вожделенный набор хромосом.

Ну а я, ни далек и ни близок,
Ничего от тебя не хочу —
Полощусь меж тамянок и плисок
И по счету исправно плачу.

В ГОД ЗАТМЕНИЯ СОЛНЦА

Все-все учли. И молоток. И гвозди.
И реплику: мол, здесь мы только гости,

И глянцевую фразу припасли
О ласковости матушки-земли.

И, следуя обрядам неким строго,
Цветов охапку вынули из гроба.

И музыку со свекольным лицом
Заставили согнуться под кустом.

А рядышком — кусочек целины
Ромашковой оставлен для жены.

Недолгая работа штыковая.
И дождь над бором не переставая.

СМЕШНАЯ ОБИДА

Ах, обида! Такая обида!
Только — жаловаться не с руки.
Все забыто? И пусть все забыто.
Поселюсь у широкой реки.

Там, в лесу, буду жить постоянно,
Одиночества ссучивать нить.
И всего-то нужна мне лесная поляна,
Чтобы сеном лосенка кормить.

Будет дом у меня с жаркой печью,
Полной медленного огня,
Будет лодка с отчаянной течью
И — не будет ружья у меня.

А за то, что мне сладко и любо
Жить и что не приходит тоска,
Буду брать по бревну с лесоруба
И по рыбине брать с рыбака.

* * *

Воздух родины сладок и колок,
Возвращаясь из детства ко мне
С карнавалом и запахом елок
И дозорным на снежной стене.

Память! Ты прорвалась сквозь завалы,
Сквозь торосы из вздыбленных льдин:
Вновь танцуют твои карнавалы
И форты восстают из руин.

Знай же, память: мне мало стоп-кадра,
Прокрути все, что прожил, назад.
Пусть мальчишек снежки, словно ядра,
Прямо в сердце меня поразят.

Пусть опять за приспущенной шторой,
Отраженный в холодном стекле,
Встанет школьный учитель, который
Много лет не живет на земле.

* * *

Кладбище сразу за дачным поселком
Служит приютом и мертвым, и елкам.

Древний как мир, невеселый порядок —
Ветхость крестов, кособокость оградок.

Здешний же сторож, хотя и старик,
Думать о смерти пока не привык.

Он, презирая свои костыли,
Копит на лодку с мотором рубли.

В лодку с собою посадит щенка,
И навсегда унесет их река.

* * *

Честные спят сторожа.
Чуткие бдят егеря.
Встанет моя госпожа —
И устыдится заря.

На внеземном чертеже
Горестей знаки внахлест.
Зябко моей госпоже
Под укоризною звезд.

Рань луговая свежа.
Бьют вдоль тропинки ключи.
— Слышишь, моя госпожа?
— Тсс… — отвечает, — молчи.

Не по-земному легка
Поступь моей госпожи.
Ночь эта длится века,
Но и словца не скажи.

С нею — в любом падеже
Соподчинения нет.
Зябко моей госпоже.
Не наступает рассвет.

* * *

Мне родиться бы сызнова где-нибудь в Сызрани,
Даже если пытались бы мне рассоветовать, —
Изнемочь в безнадежной борьбе с англицизмами
И ни разу на свой неуспех не посетовать.

Мне родиться бы сызнова где-нибудь в Сызрани,
В крайнем случае, в ржавой слободке под Ельнею,
Чтоб сестрица губами припухло-капризными
Спела песню вполголоса мне колыбельную.

Чтоб себя ощутить неделимой частицею
Утра зябкого, после дождя, глухоманного.
Лишь тогда в мировую поверю юстицию,
Если где-нибудь в Сызрани, сызнова, заново.

* * *

Беленые хаты, березы, белье
На длинных шнурах, голубое от синьки…
О, это летящее мимо жилье!
О, светлые эти сатины и ситцы!

Такое случается в долгом пути:
На тихом лесном полустанке
Вот так, беспричинно, захочешь сойти,
А поезд промчит без стоянки.

Булат АЮШЕЕВ

МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ

Рассказы

ГОРЫ-ШЛЕПЫ

Сначала выскоблите землю от пыли и камешков; вот этот квадрат, обозначенный нарисованной линией — зала, здесь тумбочка, на ней телевизор — кусок картона с вырезанным окошком экрана, вазочка и цветы желтые в ней. Почему-то всегда в желтеньком копошатся блестящие букашки. Вот кухня, на самодельной скамье консервная банка, в которой плавают головастики, — это суп. Есть даже осколок зеркала. Прихожая с ковриком — вытирать ноги. В спальне кровати из досок, можно по-настоящему вытянуться. Палочка поперек двери означает, что дом заперт и надо стучаться. Наличие множества комнат говорит о достатке. Предметы роскоши — зеркала, цветы, телевизор — о нем же. Баба Шура богата и довольна жизнью, что естественно, пока лето.

Свалка, на которой она обитает, — необыкновенная. Здесь живут люди с воображением и, что совсем хорошо, с приветом. Приветливы аборигены, как вы, наверное, поняли, — по-детски. Впасть в детство — тоже способ мимикрии, и нужда, обманутая веселыми голосами, проходит мимо. Когда осыпает каплями дождик, можно переждать в маленьких конурках, скроенных как раз по росту человека. Баба Шура отсиживается в прозрачном коконе из целлофана, как застигнутая врасплох потрепанная рыба.

В гости обычно ходят с подарком, это может быть ярко раскрашенная жестянка, подобранная на кучах, горсточка диких огурчиков — волокнисты и сладки на вкус, любая дребедень — никто не обидится, и, конечно же, цветы, ими пестреют открытые лужайки и обочины дороги. Баба Шура любит бледно-фиолетовые эмальки ромашек за их совсем не по-нашему щедрые авансы. Ромашки по бабе Шуре — рай, куда попадут избранные, щитни, которых она вылавливает крошечным садком, — ад беззакония, кусочки стекла — лимб, и сама баба Шура, когда сидит, задумавшись, за проведенной чертой, просветленна, как оптика.

Скучать здесь не умеют, смотрят в дырку телевизора на соседний лес, на дорогу, на облака в бесконечном небе или играют в «горы-шлепы». Для этого собираются вокруг единственной уцелевшей после пожара стенки и «шлепают» об нее по очереди мяч. Баба Шура — «второгодница», ей никак не удается добраться до хотя бы «в руку», не говоря уже о фантастических «зад назад» и «ручки взад». Игры достались старичкам от детей. Сами дети наведываются сюда только чтобы учинить разгром, стереть в буквальном смысле с лица земли домики, опрокинуть, что можно, и разбить. Правда, все это восстанавливается потом в мгновение ока, как в сказке.

Счастье на старость лет ночевать под открытым небом, считать перед сном звезды, а при виде нагромождения туч и блеска молнии замирать от страха. Баба Шура теперь знает, в каком месяце луна похожа на зайца со ступкой,

в каком — на бабу, разинувшую горестно рот, в каком — на человека и валун, знает имена созвездий и расстояния до планет. И чем более иссохшей становится она, тем яснее проступают на ее лице черты очевидца вечных событий: смены времен года, суточного хода земли и круговорота веществ в природе. Она невозмутима, всех дел у нее — скоблить раза два на дню землю от настырных камешков, лезущих из недр на белый свет, да пережидать непогоду под колпаком из пленки.

Кто в первый раз попадает сюда, сначала не верит в безусловность здешних правил. Они смеются, когда им запрещают ходить «сквозь стену», когда требуют говорить «тук-тук» у нарисованного порога или делать вид, что ничего не видишь, потому что здесь стена. Но игра берет свое, и скоро гости с удовольствием пьют чай из пустых чашек и заедают глиняными печенюшками.

«Горы!» — кричит весело баба Шура, ударяя мяч об стенку как можно выше. Но вот поймать отскочивший мяч не так легко, она немножко суетится, как все пьяненькие старушки, и каким-то чудом ловит холодный мячик двумя ладошками…

АЧЖАШКА

Ачжашка щелкала серу, и в смехе ее преобладало удивленное «ы». Она наклоняла голову, ее неизменные сережки цвета бледного фосфора качались. Она сидела обыкновенно на лавочке перед домом. Рядом помещались дети: девочка и мальчик. Они рано осиротели, и, кажется, ей больше нравился мальчик — большеголовый, тихий. Ей, наверное, было жалко сирот, иначе зачем бы она терпела обиды от человека, ее не жалевшего?

Дом содержала она в порядке, варила и пекла, возилась с мальчиком, уча его счету и письму, и сердилась на девочку, словно что-то предвидела. Но мальчик не звал ее мамой, и для остальных детей, отданных на воспитание в интернат, она была — ачжашкой. На каникулах старшая дочка и вторая, уже имевшие свое мнение, скрипя зубами подчинялись ей: варили, стирали, но не упускали случая взбрыкнуть, как бы давая понять: кто — она и кто — они.

Ачжашка щелкала серу, ум от этого привычного движения челюстей приходил у нее в равновесие. И смеялась она только от удивления. Так вот жила, осторожно присматриваясь к будущему, которое, как оказалось, искало ее совсем в другом месте, где-то в Усть-Кяхте.

Девочка ее огорчала, мальчик радовал. Он, имея от рождения голову ясную и характер незлобливый, уже знал всю таблицу умножения. Игры детей в тени дома, их игрушечное жилье, нарисованное на земле, обеды из камней и щепок, сокровища, подобранные на свалке — все ее умиляло. Как бы редкие минуты покоя снисходили на дом, пока не было отца.

Но им — отец, а ей — муж, что он был такое? Ачжашка не могла бы сказать. Уже потом, через много лет, оказалось, что простое признание: молодой, дурак был, — все объясняет.

Пьяного его ждали с трепетом, трезвого — со страхом. Во всем его облике, так привлекавшем женщин, было что-то воинственное и потешное. Костистый нос, лысый череп с ямкой от контузии, светлые безумные глаза. Обычный шаг был ему мал. Выпив, он делал гигантские, как в той детской игре, шаги. Дети нарочно путались у него в ногах, неслись вприпрыжку, но все равно отставали. И, бывало, ачжашка бежала с детьми, делая такие же великанские шаги, только чтобы продлить веселье и отсрочить побои.

В советское время тетки ходили в чулках цвета забеленного чая, в тесных кофтах и юбках, с прозрачной косынкой на голове.

И ощущение праздника от небольшой сумки в руках такой вот попивающей чай гостьи было. И ачжашка сиживала, лукаво смеясь, у знакомых. Щелкала серой. Болтала.

В угловом магазине она покупала кусковой сахар. Шла быстро, ставила ноги колесом. И копошиться, щипками поправлять плат, натягивая его на мочки ушей, она тоже умела.

Не слышали мы, чтобы она пела. Не видели, чтобы читала.

В полном сознании, заложив руки за спину, она шагала следом за овцами, и ветер все время дул ей в лицо.

Сначала тянулось поле, за полем начинался покосившийся мир подножия, а затем — сама гора. Жаворонки стояли в небе. Внизу мигали и звенели могилки.

Нас, маленьких, она подразнивала: уголками глаз, немым смехом, солеными словечками. Разговаривала она языком черных птичек, на сонгольском диалекте.

Но хозяину дома, презиравшему женщин, она казалась скрытной, и он бил ее за печкой. «Ой-е-до!» — вскрикивала она, а дети в страхе убегали.

Вот ее, осветившую ненадолго жизнь двух сирот, хочется запечатлеть.

ЗИМА

В сумерках они пришли: бабка, работавшая в музее ночным сторожем, ее внучка, внучкин муж, совсем еще подросток, бабкин внук, но уже от другой дочки, похожий на русского.

Бабка сама была аккуратная старушка, с вытянутым худым лицом, с печальными глазами, замученная жизнью. Такие сухенькие бурятки часто встречаются в селах, которые жители района условно обозначают «верхний куст».

Они принесли поесть: сало, хлеб, печенье, чай в термосе.

Принесли книги, потому что знали, что я отстал от автобуса и ночую сегодня в музее.

Внучка, круглолицая, тоже похожая на русскую, обещала уже скоро вырасти в бойкую тетку. Она смеялась, покрикивала на мужа, который сидел, смирно сложив ладони на коленях, и болтала без умолку. Муж, видимо, боявшийся бабки, иногда говорил нетвердым голосом что-нибудь очевидное, он словно искал нашего одобрения. «У Машки нет пальто зимнего. Получу зарплату, купим». И оглядывался на бабку, но та лишь безразлично поджимала губы, есть она не ела, а так — возила бесконечно во рту крошку, потому что не было зубов.

Маленький внучек что-то был не в духе, щипал бабку за рукав и чуть не плакал. Глаза у него покраснели, а кудряшки на голове растрепались. Оказалось, внучку не в чем было идти на елку. И эта беда, такая всем знакомая, заставляла его потихоньку страдать. Бабка сначала отнекивалась, а потом посмотрела на меня, подняв вопросительно брови. Вслух попросить о помощи она не решалась. Коробка у них уже была, картонная, как раз по голове ребенка. Они бы хотели соорудить костюм робота.

Я взял коробку, нарисовал квадрат на том месте, где полагалось быть носу, и другой — на месте рта, вырезал два отверстия для глаз, получилось, на мой взгляд, ничего себе. Бабка так обрадовалась, что даже покраснела, и внучка с мужем, гулявшие в это время на улице, стали высоко подпрыгивать, чтобы заглянуть в окна, один несчастный робот стоял, низко опустив упакованную голову, и под картонкой у него капали слезы. Он-то хотел быть Зорро.

Невдалеке, воюя с морозной ночью, гудела и выла кочегарка, где дежурил внучкин муж. Он все жаловался, сколько ему пришлось бросать уголь, что у него руки чуть не отваливаются, зато уж в его-то дежурство никто не замерзнет. Но бабка скептически замечала, что батареи еле-еле теплые, и зябко пожимала плечами, словно мерзла.

Высокий потолок освещали проезжающие машины. За стеклом витрин поблескивали камни.

Они доели сало, принялись за печенье.

Молодые весело препирались, потом устроили возню, и вокруг них, как живая, прокатилась шапка. И внучек-робот уже не плакал, а, забросив коробку, бегал по темному залу, наверное, воображал что-нибудь таинственное, новогоднее…

ПО МОРЯМ — ПО ВОЛНАМ

листья падают с ясеня
ни… себе

…Снилась ему поляна, окруженная сказочными дубами, с тонкими цветочками, в воздухе что-то все время летало. Будто бы он шел-шел и увидел водокачку. В тамбуре было темно и пахло углем, справа тоже находилась дверь — маленькая и замурзанная. Потянув ее, он оказался в узенькой и неопрятной лавке, хозяин которой, с одним глазом зеленым, а другим — голубым, продавал всякую ветошь и ржавое железо. Сверху капало. Матрос огляделся и понял, что деньги берутся от сырости. «А море?» — подумал он и проснулся.

В этот день они проверяли какой-то бункер, где, по слухам, жили бомжи. Двое сослуживцев остались наверху, а другие, бросив внутрь пару гранат, полезли, как только дым улегся. Матрос пошел первым. В темноте шибало в нос гарью и чем-то съестным. Он поскользнулся на мокром и, чтобы не упасть, ухватился за что-то тряпичное. Фонарик осветил трупье, и везде висели тонюсенькие кишки. Матроса стошнило, он побежал назад, вытирая на ходу руки о бетон.

Вечером снова печалилось море на стене, слабо-голубое, и полоса запредельного света поднималась над островом.

— Печелийский залив, — сказал матрос вслух.

— Эй! — крикнул сосед. — Ты чего?

— Отстань, — вяло ответил матрос и продолжил искать в трещинах штукатурки настоящую жизнь.

Через год он демобилизовался, но домой не поехал, а остался в приморском городишке, чтобы посмотреть на себя со стороны. Привычка умудрено прикладывать к щеке ладонь делала его почти симпатичным. Какая-то русалка повисла на нем, поджав ножки. Волосы она расчесывала гребнем и, как все русалки, распускала их по ветру. Вокруг города на волнах плескались банки, они соперничали с чайками по количеству. Матрос выходил на берег с подругой и дышал йодом.

— Чего ты дуешься? — говорил он, приобнимая ее.

— А ты? — спрашивала она и не верила, что человеку может не хватать какого-то выдуманного моря, подсмотренного на стене казармы.

— Это все бред, — говорила она голосом учительницы, — у меня, например, нет норковой шубы, и я молчу.

Как-то солнце, отведя шторки, осторожно заглядывало внутрь маленьких домов. Жители городка бежали с ведрами за водой и с авоськами — на рынок. Возле матроса, сидевшего в окошке подперев щеку, остановилась лиловая, цвета девичьих лосин, иномарка, из нее выглядывал сослуживец, считавший, что деньги любят рассеянных. Сам он по рассеянности вынес со склада кассету, не считая денег, сбыл, и так же, не выбирая и не торгуясь, купил с рук первую попавшуюся тачку. Таким образом, он убил сразу двух зайцев: и овца совести осталась цела, и волк алчности на время заткнулся.

— Нет, — говорил он, делая руки кубиком, — вот ты разводишь сырость, а преумножаешь только мокриц, или твоя жена кладет монетки под телефон согласно фэн-шуй, но бедна, как церковная мышь. Надо делать как я; мои кредиторы собрались на сходку в сам знаешь каком месте, а я по рассеянности бросил туда парочку гранат, и теперь свободен.

— Это уже привычка, — сказал матрос, вспоминая развешанные кишки.

Сослуживец плавно отъехал, любуясь сам собой, но тем же вечером разбился. Машина от удара съежилась и уже не напоминала атласные лосины.

Город осточертел матросу, он привез жену к родичам, жившим в душной, как духовка, степи. Те, привыкшие к сухой помывке, с ужасом смотрели на русалку, не вылезавшую из ванны, чтобы не сохла кожа. Экономные жители этого края скатывали навоз вместе с угольной пылью и топили им печи.

— Это не люди, — говорила русалка, рассматривая черных от солнца прохожих, — это скарабеи.

В селе было много калек женского полу: в любую погоду они ходили по шоссейке, уже потеряв надежду уехать, и только по привычке голосовали. Некоторые переступали бочком, другие двигались на ощупь или положив руку кому-нибудь на плечо. Подобные картины были в порядке вещей: мужики выгоняли своих жен босиком на снег, как Зою. Деньги называли здесь «анти-манти», а детей — малолетками. День начинался с того, что коровы, невыспавшиеся и злые, шли направо, и заканчивался тем, что те же коровы устало плелись налево, и можно было легко перепутать утро с вечером.

Русалка томилась, нанизывала бусинки на волосы или сидела со своей стеклянной тенью на берегу обмелевшей речки.

— Смотри, — сказала она как-то матросу, сорвав желтеющий листик, — осень скоро. Птицы улетают, пора и нам.

Какая-то пьяная бабуля показывала им кукишки. Появился дядька с животом, похожим на мошну. Его предки, преследуемые много веков сарацинами, обучились хитрой науке жить не одну, а сразу несколько жизней.

Пока матрос разглядывал узоры, нарисованные сыростью, дядька, лишенный всякого постороннего зрения, покупал и продавал, недовольным предлагал поцеловать ногу, и в его обкатанной речи звучало такое пренебрежение к человеку, словно перед ним была пустая тара с усохшей грушей на дне.

Вдруг матрос увидел, как две собаки кусают друг друга за локти, он закрыл глаза обеими ладонями, чтобы сморгнуть, и когда отнял их от лица — прошел год, подробности которого испарились, словно сделанные изо льда. Солнце новой яви растопило их, он держал в руках лопату в форме большого сердечка и подносил уголь к отверстию печки. На улице скрипела зима, скупой снег оторачивал деревья. Водокачка была похожа изнутри на трюм корабля, но гнилого, щели между бревен затыкали цветные тряпочки. Над ним были развешаны резиновые кишки разной толщины. Сверху капало.

Деньги берутся от сырости, вспомнил он и замяукал от смеха.

— С Новым годом! — сказал урод, протягивая ему картинку. На ней пушкинская русалка трепыхалась в объятиях андерсеновского трубочиста.

ЧОНО

Поселок, названный по именам двух первоапостолов, засыпал трудно, люди, замученные комарами, хлопали себя по шеям, лягались во сне.

Чоно, недавно принявший католичество, жил как в гостях у себя дома. Точно так же православные люди женятся на трех христианских добродетелях, хотя бы они только назывались так, а на деле были чем-то совсем четвертым.

Эта тема четвертого и неопознанного очень мучила Чоно. Он раскрывал Библию и сличал библейские сюжеты с тем, что видел в жизни первоапостольцев — ничего похожего. Здесь жили алчно, могли выцарапать глаза в очереди за что угодно — и это христиане!

В поселке верующие держались кучками. Одна кучка стояла у автовокзала и с плачущими лицами раздавала всем благочестивую литературу. Люди подходили, брали книжки, листали и со вздохом возвращали обратно. Им это было не надо.

Другая кучка совсем никак себя не проявляла. Только крест над бывшим клубом все плыл куда-то сам по себе, пока вовсе не исчез, словно его унесло ветром.

Третья кучка — самая деятельная — обзавелась даже своей церковью, поставленной на месте, где когда-то находилось районное ФЗУ, или просто «фазанка».

Жизнь шла, и незаметно Чоно чувствовал, что остается совсем один, и все католические святые и скалы, на которых они спасались, и все моря, через

которые они несли свой крест, а в складках сутан и обоюдоострые мечи, — все это начинало казаться чем-то сказочным.

Тогда Чоно шел к Розе, носившей шапку куличом. Она искренне верила, что ленивые люди, не заготовившие впрок дрова и сено, силой своего ожидания приближают весну, а сама любила зиму, потому что была работяща. Роза обычно сидела в лавочке и продавала какой-нибудь мелочный товар. Если покупатель долго не рассчитывался, она сердилась и говорила: «А платить кто будет? Папа римский?» С Чоно она разговаривала о нем же, о папе.

В разговоре с католиком Роза часто ссылалась на две книжки, прочитанные ею в детстве, на «Хижину дяди Тома» и «Овод». Две вещи поощряли в ней религиозное чувство: смерть маленькой Евангелины, заставлявшая ее долго рыдать, и скорбная фигура кардинала.

Чоно спрашивал у Розы, может, ему стоит написать письмо своему духовнику? Чоно на досуге писал обиженные письма куда-то в Польшу, в самых сладких снах ему представлялось, что он умирает, а на его могиле сидит седовласый падре с сияющей тонзурой на голове и плачет.

Роза покатывалась со смеху и убеждала Чоно обязательно написать письмо, может быть, ему пришлют денег.

Роза рассказывала, как лютеранский священник Абашиков приехал в сильно пьющее село с маленьким чемоданом, извлек из него распятие, но мужиков это не впечатлило; в следующий раз он появился на джипе, и его зауважали.

И Чоно писал: «Падре, православный батюшка на казенные деньги купил машину и дом, а в соседнем селе китайцев, что строили церковь, побили подушками и прогнали вон, и теперь жители села таскают потихоньку кирпичи со стройки и пьют разведенный спирт».

От Розы Чоно шел к новокрещеной Сэсэг. Она посещала лютеранские собрания, во время службы сидела на скамье с прямой спинкой и верила, что человек произошел не от обезьяны, а прямо от Бога.

Лютеранский священник, тот самый, что ездил на джипе, был противником дарвинизма, но при этом относился к обезьянам нежней, чем к католикам. Во время проповеди он часто останавливал на ком-нибудь взгляд и произносил задумчиво: «Шим-пан-зэ». Его сильно смущали разные нелепости во внешности человека: увеличенные надбровные дуги, скулы, похожие на ручку чайника, нос как у гиббона. И в утешение он рассказывал, что обезьяны все-таки сообразительны, что, переправляясь через реку, они подают друг дружке хвосты, и что апостол Павел проповедовал обезьянам, о чем говорится в некоторых апокрифах.

Чоно часто останавливался возле лютеранской церкви, чтобы полюбоваться на ухоженный сад и чинных верующих, которые ходили задумчиво по садовым дорожкам.

Когда ему надоедало играть в прятки, он садился на скамейку в лютеранском саду и дожидался окончания службы. Хор пел: «У мертвых спроси, у мертвых!»

Чоно представлял себе первоапостольских лютеран, таскающих его за волосы.

— За что?! — будто бы кричал он, отчаянно отбиваясь.

— За Яна Гуса! — отвечали ему. — За Тодора Живкова!

Но вместо этого священник Абашиков показывался в дверях, спускался к Чоно и, пожав руку, со смехом говорил что-нибудь нелепое:

— Слыхали, что пришельцы делают? Захватили Луну, построили на ней свои базы! Небось, слетелись со всей вселенной и наблюдают за нами!

Из церкви степенно выходили прихожане.

И пристыженный Чоно бежал, согнувшись в поясе, словно дарвиновская обезьяна…

Владимир СВЕТЛОСАНОВ

КОРАБЕЛЬНАЯ СТОРОНА

* * *

Я возьму на себя ответственность
И отвечу за все, как есть:
И за волчью в крови наследственность,
И за кротость овечью.
Честь,
Береженную мною смолоду,
Наизнанку не вывернуть;
Отпустить раскольничью бороду,
Застолбить прямоезжий путь
Не пришлось; на пути окольные,
Шароварами шелестя,
Выходить не пристало. «Сколько мне
Лет, Савельич?» — «Еще дитя».

* * *

Эпохи вырожденья очевидец,
Развала современник поневоле,
Ты все еще мечтаешь, как Овидий,
Вернуться в Рим, взойти на Капитолий.

Но алчная волчица не готова
Тебя восстановить в правах гражданства.
Зашло в тупик ораторское слово.
На карте пост-латинского пространства

Ты видишь полустертые названья
(К примеру, «легендарный Севастополь»),
Стоически отмерив расстоянье
Тебе доступным ямбом пятистопным.

* * *

И шатко, и валко. Валуйки.
На юг повернув от Хопра,
Вихляются рельсы, как струйки,
Налево-направо-напра...

Напрасно донецкие степи
Твой взгляд норовят уловить, —
Здесь было бы, право, нелепо
Парням молодым выходить.
Никто не выходит до Крыма,
И прочно стоит на земле
Все то, что проносится мимо, —
Смотри хоть напра..., хоть нале...
Налей мне еще из титана
Сомнительного кипятку, —
Стук ложки о стенку стакана
Я слышать, как ты, не могу.
Как струйки, вихляются рельсы
Налево-направо-напра...
А ветер горячий и резкий
С Изюмского веет бугра.

* * *

Большая Морская — зеленая улица, белая.
Там некогда мне улыбалась история целая.
Я ей улыбался в ответ чересчур идиллически,
С Приморского идучи вверх — на бульвар Исторический.

Уже и не помню — платанами или каштанами
Она шелестела легко над моей головой?
Большая Морская с матросиками белоштанными
Не ведает, что за история вышла со мной.

Я вынес ее, как Вакула в мешке за окраину;
В надежде на большее с меньшим расстаться решил.
Мне не улыбается больше Большая Морская, но
Я сам виноват — уходя, улыбнуться забыл.

* * *

Мне приснился далекий город,
Корабельная сторона,
Старый бакен, что перевернут,
Продырявлен, навек отторгнут,
От родного отвязан дна.

Чуть покачивается лодка.
Стайка чаек на берегу
(Ах, не с птичьего ли полета
Я на это смотрю — и что-то
Силюсь вспомнить — и не могу).

Порт внизу. Горизонт распорот.
А вон там, где ропщет волна, —
Я (не этот, а тот, что молод).
Мне приснился далекий город,
Корабельная сторона.

* * *

Листву сжигаю. Зимний Симеиз,
Соизмеримый разве с мирозданьем
По части пустоты. Дубовый лист
Сворачивается перед закланьем,
Дымится и противится огню.
Я в санатории работником хозчасти
Служил, смеясь, надеясь, что сменю
Хитиновый покров советской власти
На греческий хитон. Всегда, увы,
Прозрение приходит с опозданьем.
Беспламенное тление листвы,
Воспоминанья облагая данью,
Отечеству противопоставляет
Дым, только дым, и больше ничего.
И, кажется, уж роща отряхает
С нагих своих ветвей лишь для того
Последние листы, чтоб я их жег.
Семирамида. Симеиз. Смолистый
Дымок костра от ветки кипариса.
Висячие сады закрыты на замок.

* * *

Солярным мифом Салехарда,
Тяжелым солнцем, темнотой
Ямало-ненецкой, полярной,
Горюче-смазочной, ночной,
Очерчен круг непопулярный,
И всяк, кто за его чертой,
Согреться в будущем не тщится.

А нам, южанам, ночью вдруг
Сиянье северное снится,
Как им, гипербореям, юг.

«О, этот юг!» ...О, этот Диксон!
Щемящая тоска вокруг.

Новосибирск. Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Здесь я родился и, гляди-ка,
Живу уже давным-давно.

Мне все здесь близко и знакомо,
Особенно ж/д вокзал.
Литературе, впавшей в кому,
Здесь я любезность оказал...

Бывает, подскочу от крика
Средь ночи: нет — еще живу!
Новосибирск. Хоть имя дико.
Иные ж — дичь по существу.

Валерия ИВАНОВА

ЛЬДИНКИ

Рассказы

ЧЕРТОВ МЕСЯЦ

В марте у Кати общий сбор. Отказы не принимаются, являемся все, где бы кого этот чертов месяц не застал. В бывший дачный поселок ходил когда-то два раза в сутки пригородный автобус, потом еще километра два в гору пешком топали. Теперь все по-другому: город вырос, догнал и проглотил дачный кооператив. От соснового бора осталось несколько сосен, а от поселка — с пяток домов, стиснутых кирпичными пятиэтажками. На Катин дом тогда, как раз в марте, и табличку прицепили: «Улица Газгольдерная, 1». А на Гаревой поляне, где раньше землянику брали, поликлинику построили. Тоже ведь хорошо, если разобраться. И трамвай ходит.

Соседки трамваем недовольны: грохоту с него, звону! Полы ходуном ходят; у одной зеркало в трюмо трещиной пошло. Да и уснуть не уснешь — какой сон, когда табуретки по комнате пляшут. Катя от дур отмахивается — ей-то спится. Бессонницы эти ваши модные — от безделья они.

Но в марте и Катю прихватывает. Скатится под гору в депо последний трамвай, отзвенят и стихнут в серванте блюдца, в зашторенной комнате осядет по углам скрипучая тишина… и пока не заорут во дворе птицы, пока день не плеснет молоком по синим окнам, Катя не ляжет. Мартовские ночи, одна за другой, пройдут у стола, где на скатерти меж двух портретов в хрустальной пепельнице пылятся давно никому не нужные очки. Когда же?.. В восемьдесят девять или в девяносто она ослепла? Не вспомнить. Сейчас-то уже девяносто седьмой пошел. Катя по глазам не горюет. Без очков свободнее, а смотреть тут все равно не на что. «Чего надо, то я и без глаз увижу, нутром, я ж Чертовских!» — смеется. И не врет: глянет из-за штор утро, будто стоялый крепкий чай молоком разбелит, Катя поднимается, оглаживает ладонью портретные рамы — сначала одну, потом другую… И спать идет. Как раз под первый трамвай и засыпает, под звон его будильниковый. На этот раз — накрепко.

Трамвай прокатывается по кольцу и уходит под гору, в такт ему качаются на столе фотографии. На одной, желто-коричневой от времени, стоят в обнимку двое парней в гимнастерках. Один — чернявый татарин, другой — темно-русый конопатый русак. За спинами у них река холм огибает, палатки можно разглядеть. Сунгари, 1929 год. Вроде земляки, а познакомились только там, в Манчжурии. Георгия вскоре ранили, за ним и Алексей в госпиталь попал. Комиссовали после, вернулись в город вместе. Устроились на машиностроительный завод, уже незадолго перед войной предложили им в горячий цех перейти. Георгий согласился, а Алексей носом покрутил да и передумал: тяжело. И в сорок первом Леху призвали, а Георгию бронь вышла. Он, конечно, все

равно в военкомат сунулся, а там — ни в какую: лейтенанта нам двух месяцев хватит подготовить, а вашего уровня рабочего выучить — двух лет мало. Так что идите и работайте, дорогой товарищ. Что было делать? Работал, ни дня, ни ночи не различая. Тогда же, в сорок первом, сюда Краматорский машиностроительный завод эвакуировали, на базе местного стали снаряды и мины выпускать. Горячий прокат меди пришлось в срочном порядке осваивать. Вот там Георгий и пригодился.

А Алексей на фронт ушел. Успел за неделю до призыва жениться, как раз на Кате. И убили его в первый же месяц. Что уж там с похоронкой вышло, а только получила ее Катя уже в марте. До тех пор писала и ждала, ждала и писала. Надеялась, может, теряются мужнины письма — неразбериха-то ведь какая. Зря надеялась. Тогда и прокляла себя за то, что девичью фамилию сохранила. Простенькая Лехина не понравилась. Еще и зубы скалила перед ЗАГСом: где это видано, чтобы Чертовских на Попову меняли! Вот и нет больше Попова, март к рукам прибрал. Чертов месяц, чертов…

То ли с горя, то ли неподъемную свою вину надо было на кого-то переложить, но обиделась тогда Катя на Георгия раз и навсегда. Будто он Леху под смерть подставил. А Георгий молчал, не оправдывался. Знала Катя, без него знала, что не выпрашивал он бронь. И в военкомат ходил, по столу кулаком стучал. Не испугайся тогда Леха работы, поступи в горячий цех, тоже был бы сейчас жив. Но Георгий молчал. Так и шел молча со смены по деревянному тротуару, а Катя — за ним. И матом его, матом в спину. Сапоги на ней войлочные, за день талой воды наберут, как губки, а к вечеру, к фабричному гудку, опять морозом лужи схватит; спотыкается она, как в колодках, падает. Раз вот так и упала: доски под ногами разошлись, она коленкой-то в дыру и ухнула. Он развернулся, сгреб ее с земли и потащил, упирающуюся, обратно к заводу, в санчасть. Принес, стряхнул с плеча на кушетку осторожно. А Катя, белая то ли от боли, то ли от ненависти, подтянулась, ухватила его за ворот, потянулась, будто поцеловать хотела. Георгий наклонился, а она в лицо-то ему и плюнула. Утерся, смолчал. Дверью только хлопнул. Но дождался в коридоре, довел до дому. Все — молча.

После войны поутихла Катя, успокоилась. Сошлась с одним — вдовец с двумя ребятами, инвалид. Но пил страшно, запоями. И кулаки распускал, не без этого. Если б не мальчишки, Катя сразу бы ушла. Жалко их было, тянулась, сколько терпения хватило. Хватило на четыре года, будто еще одну войну оттянула. Даже и забеременела. Тот, как узнал, на радостях опять напился, замкнуло у него там что-то в пьяной голове, он и воткнул ей костыль в живот. Ничего, выжила. Когда инвалидность оформляли, зубами сверкала: мы, Чертовских, живучие. А что рожать не судьба, так на кой чертей плодить? И смотрела с прищуром. Жалеть никто не рисковал, глаза опускали. Так одна и жила. А Георгий женился, взял вдовую татарку. Настоящая, из переселенок была, по-русски почти не говорила. Сын у нее от первого мужа остался, вот его Георгий и вырастил. Своих детей с татаркой не прижил. Работал все там же, на Куйбышевском, только из горячего цеха ушел. Ему, как ветерану тыла и передовику, квартиру давали. А он отказался. Дескать, другим нужнее. Татарка смолчала, может, не поняла толком, зато сын обозлился, собрал вещи Георгия, в коленкоровый чемоданишко рубахи с кальсонами поместились, да и выставил — вон бог, вон порог. Заходите на чай, когда нас дома нету.

Ютился у приятеля на раскладушке, потом уж от завода комнату в коммуналке дали. Надо ли говорить, что там-то он с Катей и встретился… Сосед с соседушкой, да. Катя — на то и Чертовских, чтоб с годами зла не растерять. Покатилась жизнь вспоротой периной — пух до небес, душа кубарем. Таких скандалов тихая улочка еще не видела. А Георгий отмалчивался. Вплоть до первого инсульта молчал. Потом, когда из больницы выписали обезножевшего, Катя испугалась. Что уж она в собесах и опеках врала, какие брала обе-

щания, про то только ей известно, но Георгия от дома инвалидов отстояла. Ворочала его, наловчилась простыню под ним перестилать, да так ловко, что он и поморщиться не успевал. В ванну… да какую ванну, так, корыто коммунальное, самоделку жестяную — на себе таскала, мылила черные с сединой кудри хозяйственным мылом, мяла спину и задницу, спасая от пролежней. И материла, чтоб не зазнавался. Он опять молчал, усмехался только про себя. Потом в комнату оттащит, рубаху чистую подденет, причешет, побреет, чаю принесет. А на комод, чтоб отовсюду видно было, фотографию в рамке поставила. Леха с Георгием, оба в гимнастерках, а за спинами река холм огибает.

Так бы и жили себе, горя не знали, да в марте — опять март, чертов месяц! — померла соседка, старушка безымянная. В комнатку ее, за кухней, вселили дамочку одинокую, лет уж под пятьдесят ей тогда было, не меньше. Интеллигентная, с перманентом. Идой звать. Спокойная такая, порядочная. Собачонка еще от бабки-покойницы осталась, так Ида ее не гнала, оставила. Зачем-то только переобозвала: был Шарик, стал Вайс. Кате, когда они вдвоем, по-соседски, новоселье справляли под Катину, между прочим, наливочку, так объяснила: дескать, Вайс по-немецки значит «белый». Ничего Катя не поняла: какой же белый, когда черный, как уголь? Но вникать не стала — черт бы с ним, Вайс так Вайс. У новой-то жилички у самой имечко то еще, Катя тайком в паспорте подсмотрела: Немезида Станиславовна. Кошмар, язык сломаешь. То-то она Идой представилась. Что ж, понять можно, сама бы стеснялась, не приведи Господь…

Стали жить. Ида Кате помогала с Георгием — постелить, подать-принести. А еще, стала Катя замечать, книжки она ему подсовывала. И у него глаз загорелся. Даже и рубаху иной раз понаряднее просит. И садиться сам начал, на руках подтягивался и садился. Еще стала примечать: прибежит она с работы с сумками, а они там, в комнате, вроде недовольны — оторвутся от книжек нехотя, замолчат сразу. Даже и Вайс ворчал на Катю недовольно. Вроде она помешала. Раз как-то вырвалась из поликлиники в обед, — в регистратуре она на полставки устроилась, — дверь открыла, да так за косяк и схватилась: Ида к Георгию руки протянула, а тот с кровати-то навстречу ей и встал. Сам! Катя охнула, он покачнулся и грохнулся головой о спинку. Обошлось тогда. Катя ни словечка никому не сказала, еще и Вайсу голодному полпалки ливерной в блюдце положила. Иде-то на радостях не до того было — приперла Георгию альбом с репродукциями, что-то они там листали-обсуждали. А Катя на кухне под лампой письмо писала: «Настоящим довожу до вашего сведения, что гражданка Селетинская Н. С. без определенного места работы ведет разгульный образ жизни, тунеядничает...»

Иду выселяли в солнечный день, сумасшедшая по весне сирень душила судебного исполнителя — толстого и одышливого брюзгу. Он истекал потом из-под фуражки и проститься выселяемой ни с кем не позволил. Опечатал дверь, навесил пломбу и взял два Идиных чемодана в руки — лишь бы скорее. Вайса Катя с утра заперла в ванной, он бросался на хлипкую фанерную дверь и не скулил — плакал почти по-человечьи. Иду увезли быстро: хлопнула сначала входная дверь, затем дверцы машины во дворе, и все стихло. Катя вздохнула, хотела перекреститься, да не вспомнила, как правильно — слева направо или наоборот. Чиркнула спичкой над газовой горелкой, тут все разом и случилось: сорвались ржавые петли двери в ванную, в коридор вылетел ополоумевший Вайс. Вылетел и угодил прямиком под ноги Георгию. Тот, в парадной рубахе с галстуком, как раз заносил ногу над невысоким порожком, когда черно-угольный клубок с радостным визгом сбил его с ног. Спичка в руке у Кати погасла, свой тяжелый тягучий вой она расслышала далеко не сразу, едва отличив его от жуткого, смертной тоски, воя Вайса.

Новый трамвай со звоном взлетает в гору, обводит микрорайон кольцом и стекает с горы вниз. Я ловлю подпрыгнувшее на столе фото: Георгий в парад-

ном пиджаке с орденом смотрит в камеру сурово и чуть испуганно. Катя уже проснулась, стоит у окна, вцепившись в подоконник артритными пальцами:

— Надя, ты бочонок-то, капустный-то, под слив поставила? Смотри мне, я все слышу! Поставь-поставь, пусть отмокает. Лерка, ты пирог вынула? Горелым вроде несет? Смотри мне! А простыни, простыни с веранды сняли? Сима?!

Я чиркаю спичкой над газовой горелкой. Мы, татаркины внуки, здесь все до единого. Март — чертов месяц, Катя в марте не спит, волнуется. И мы съезжаемся на поверку, все до одного. Наперечет. Первый-второй, рассчитайсь!.. Все здесь, Катя, все здесь.

ДЕНЬ ГОРОДА

Казенный выходной продрал глаза к полудню, когда стеклянный заморозок лопнул, как градусник, и истек ртутью в подвальные отдушины. Углы, тротуары и улицы поддернули тени, отмякли и вытянулись вдоль предместья под ватной оттепелью во весь рост. Люди просыпались. Полетели куры из-под ног, заскакали в сенях и на верандах крышки с огуречных банок, и, будто стая сизарей, заворковал, загулил в сотне глоток разом ядреный, не продыхнуть, укропно-чесночный рассол. Кот, нехристь чердачная, шуганул голубей, те сбились в ком, в моток почтового шпагата, прокатились по пыли к окну. И вот — хлопот крыльев, и из расцарапанного неба в самое небо — счастливая отдышка: хорошо!

Свернул в переулок к гастроному припозднившийся хлебный фургон, амбарными замками нацелились друг в дружку хмурые, под засовами, «Почта» и «Парикмахерская». Из-за угла с оглядкой шмыгнул ручей, цапнул с бордюра листовку «Горожан с днем города!», крутнул в воронке у столба и утянул под решетку. Стекольщик Амбастиков вдогонку ему отжал из мочалки мыльные хлопья и прошелся еще раз, насухо, по вывеске «Стекольная фирма “Лицензия”. Трезвые мастера всегда!» Полюбовался буквами, дыхнул на восклицательный, как сержанту в тестер, полирнул локтем и запер контору. Праздник начался.

А на другом конце города, пока пригородный автобус раздавал багаж заспанным приезжим, от вокзала отошло такси с пассажиром. Неприметная «шестерка», каких много. Разве что крышка у багажника не закрывалась, хлопала на ходу. Очень уж груз попался негабаритный — ящик лимонов. Таксист накрутил лишнего километража заезжему лоху, потому был благодушен и желал общаться.

— Откуда сам-то?

— Родился здесь, а еду с Бодайбо.

Водила крякнул, приготовился скинуть цену на четверть — фора на знание города.

— Так то ж север! Чего ж ты оттуда лимоны пер? Они там у вас золотые, не иначе.

— Не, это с югов, с Сочи. Бригадир отдыхал, привез. А я их матери, она тут живет.

Пассажир притих, поерзал на сиденье, распустил из-под кожаного пальто потный настой и вдруг улыбнулся: заплыли азиатские глаза в скулах-яблоках — поди разбери, казах он или татарин:

— Любит… с чаем-то. Сахару набуровит, лимонов кружка два ложкой надавит, с кипятком. Заварки еще нафигачит, аж горло дерет. А ей ниче, пьет. Нравится. А тут пишет: помирать собралась. Пора, дескать, зажилась. Вот веришь, нет: неделю маялся. Чего напишешь-то? А тут — лимоны. Ну и вступило в мозги — думаю, привезу, бухну ящик на пол: на, мать, к чаю тебе. И пока не проешь, помирать не вздумай. Деньги, дескать, плачены. За аптекой поверни, по правой дороге поедем. Короче выйдет.

Таксист вздохнул, скинул еще полтинник. Городская застава дыхнула в опущенные окна «шестерки» валидолом с аптечных складов и скрылась в пыли. Впереди шустро бежало в мощеную горку деревянное предместье.

— Хоронили, что ль, кого? — колесо вильнуло, прыгнуло на кирпиче, объезжая цепочку крупных, в кулак, садовых бархатцев. Пассажир пожал плечами, не взглянув. Он все посматривал в зеркала на багажник, угадывал под крышкой, что ходила ходуном, глянцевый лимонный лоск и улыбался.

— Поднажми, а? Сотку накину!

Таксист поднажал. Бархатцы тоже подбавили: вровень с шестеркой, то и дело виляя с утоптанного пустыря на мостовую, бежали уже два рыжих потока. Казах-татарин перестал чесать подмышки, позабыв руку под пальто. От лба к подбородку и дальше в ворот плаща потекла желтоватая, как лимонная изнанка, бледность. Цветочная дорожка споткнулась о забытую Амбастиковым стремянку, сладко притерлась к порожку вино-водочного «Эдема», обогнула вместе с канализационным ручьем фонарный столб и шарахнулась от дороги прямо под ворота дома № 8. Таксист коротко глянул на пассажира и, ни о чем не спрашивая, мягко причалил туда же. Из распахнутого на втором этаже окна рвался наружу тяжкий девичий вой. Кожаный приезжий на циркульных ногах пошел к калитке, бухнул кулаками в доски и пропал во дворе. Водила потоптался, достал из багажника ящик с лимонами, поставил у ворот. Пошел было прочь, вернулся, носком ботинка аккуратно двинул угол поровнее, крякнул и уже в «шестерке» газанул, сжигая сцепление, будто боялся: калитка дрогнет, его окликнут.

Мелькнуло и скрылось позади предместье, у заставы такси остановилось. Дух перевести. На аптечном крыльце, полыхая рыжим из-под капюшона, сидел пацан с мобилой. Покосился на таксиста и ткнулся в телефон:

— Дурак ты, Сява! Дорожка из цветов, дорожка из цветов! И че? Мало мне, что мать за бархатцы обещала шкуру содрать, так теперь и Верке отец жопу надрал. И из дому не пускает. Как догадался?.. Я ж от своих ворот цветы-то сыпал! А откуда надо? Ну не с кладбища же!

Таксист сплюнул, завел двигатель, «шестерка» медленно поехала в город. А по предместью покатился праздник — привычным, на века устаканенным порядком, как, бывает, катится под вечер с горки початая поллитра. Гулко глокает в пыль, виляя мимо рук, и под конец взрывается на камне осколками вразлет, до кровавых соплей у половины сельчан.

Ночью, под грохот городского салюта сладко спали вповалку на тахте кожаный приезжий и примирившийся с миром суровый Веркин отец. В кухне, света не зажигая, в отсветах фейерверка у окна чаевничали воскресшая Еспергениха и зареванная Верка с рассыпанной черно-шелковой косой. Бабка шуровала в Веркином стакане ложкой, давя кружок лимона, и посмеивалась:

— Ничо-о! Раз живую похоронили — сто лет буду жить. Ничо-о! А с лимонов у меня изжога, с молоком пить надо. Чего ревешь-то?.. Дура ты, Верка, дура.

МУХА

Из сада прилетела муха, шлепнулась на подоконник и увязла в солнце, как в меду. Хмель наплывал прибоем с карниза и шершаво откатывался. Цеплялись к занавеске шишки, недолго качались и падали. Муха вслушивалась в шорохи и млела в переливах теней.

В кухне сквозняк опрокинул вазу, взбил над скатертью жухло-розовый смерч. Дохнуло омутом. Буфет отвалил дверцу, звякнула столешница. Звук обогнул лукошко с бокастыми луковицами, пересчитал чашки на столе и утянулся за дверь. На конфорке забубнила сковорода, потянуло духовитым, чес-

ночным. Муха оживилась, поднялась навстречу запаху и под хлестнувшим вдруг полотенцем умерла. Мгновенно.

В кухню вернулась хозяйка.

Если б было в городе море, быть бы Наде морячкой. Или рыбачкой. Рыбак — он дважды моряк. Ходила б с мужиками в путину, ловила бы скумбрию стотонным тралом. Но Красный Луч — это даже не город, так, шахтерский поселок. И не то что моря, реки какой завалящей, да хоть бы и озера или ручья на местных картах не значилось. Есть выработанные гравийные карьеры, *ставки*. Громадные ямы с водой. Вот вам и пляж. Своим нравится, а приезжие, которые нос воротят, могли б и не приезжать. Не курорт им.

Надя слила с картошки кипяток, отхватила ножом масла с кулак, придвинула ближе солонку и молочный кувшин. Старая, бабкина еще, толкушка легла в руку привычно и ладно. Ну… с богом. Дом просел на сваях, вздохнул, выдув из окон занавески. И полетел в тартарары.

Со свистом пошли ядреные луковицы, будто подушку вспороли, взошла тучей шелуха. Стонали плиты, дрожал буфет, цеплялось за гвоздь зеркало — держите меня пятеро, ведь семь лет удачи не видать!.. Сорвался с крючка ставень, взвыл во дворе соседский вороватый Гришка: с ветки свалился, прямиком на ящики. На вой принеслась мать, перемахнула через калитку, сына в груди утопила. Так и замерли оба под градом груш.

А по городской площади вдоль витрин универсама шел Константинов. Под сетчатой шляпой лысина, очки на носу скользят. Константинов их пальцем подправляет. Посмотрел на мороженщицу, не соблазнился. А вот к «Сокиводы» подошел. Двойную без газа заказал.

— А вы песню не помните, про малиновку? Что-то вроде «малиновки заслышав голосок»… Как дальше, а?..

Рыжая продавщица стакан у Константинова забрала, сдула со лба прядь и рычажок двинула. Зашипела омывалка, а Константинов дальше пошел. Не обиделся.

Улица успокаивалась. Оседали на заборах и тополях голуби, выползали из будок цепные псы, запоздало храбрились, взрыкивая на пацанву, и отчаянно чесались. Еще орали кое-где младенцы, но уже матери совали им грудь, агукали ласково и утирали карапузам носы подолами, от сглаза. Беленые хаты стряхивали с крыш абрикосы и листья. Плыли в канавах зеленые сморщенные орехи. Хлопнули кое-где ставни, покатилось и ткнулось в лопухи ведро. Гришка взвыл от материной затрещины. Взвыл, получил вторую, затих. И Константинов, свернув с шумной площади на улицу, улыбнулся: тишина!

Надя встретила его рюмкой сливовой во дворе под грушей. Константинов употребил. Запрокинул голову, проводил наливочку. И ладонь к груди приложил, чтоб, значит, вибрацию уловить. Подобрал падалицу свежую, с отбитым бочком, захрустел.

— А славный у тебя, Надя, дюшес. Очень славный.

— Есть будешь? Пюре тебе взбила, с маслом, — Надя одернула подол. Халат на груди надулся парусом, две пуговицы запрыгали по плитам, смешались с падалицей, ссохшимися листьями, пропали. Их, впрочем, не искали.

Ночью округа не спала. Снова заполошно вскидывались голубиные стаи, орали младенцы, матерились отцы семейств, не находя в темноте «Беломор», и сыпались, сыпались по ступеням террас спички. Выли псы, звенели цепи, скулила у Гришки во дворе не привыкшая к привязи палевая сучка. Снова хлопал о стену сорвавшийся кухонный ставень. Надя взбивала перину, как картошку. Заодно взлетал над панцирной сеткой и Константинов. После он долго курил на крыльце. Смотрел на луну — надо же, какая сливочная, будто масла в тарелку налили. Расчесывал комариный укус на ноге, чуть пониже трусов, стряхивал пепел вниз, на плиты, на подтекшие, забродившие пьяные груши — и улыбался: тишина!

А сверху, с дымного чахлого облака, что притулилось сбоку от Луны, из мушиного своего рая смотрела на Константинова убиенная муха. Чистила слюдяные крылья, поднималась на лапках. И смерть свою людям прощала. Потому как… что бы мы ни делали, чего бы ни творили, а непременно окажется, что кому-то и зачем-то это все-таки нужно. Она теперь точно знает.

ЛАНДЫШИ

Ноги заправлены в кеды, линялые трусы в горох — купальниковый низ родом из семидесятых, футболка цвета хозяйственного мыла пузырем по ветру, — плывет свекровь по распашной делянке, как ледокол по морю, кромсает пятками комья, отпинывает червивые желтые корни — осот этот хренов! — и, намазывая зубы помадой, как хлеб маслом, сдувает с ресниц капли — послал черт жарищу, прости господи. Невестка следом успевает, за плечами мешок с сушеным конским навозом болтается, шею натирает, в руке ведро с золой, с раскаленного на солнце кострища, будто только что с углей, под мышкой лопату зажала. Штаны, тапки, косынка — все пеплом припудрено, под мышками черти блины пекли.

— Ты где там? Да не топчись, горе! Землю утрамбовала, хоть перекапывай. Сыпь давай, сюда сыпь. И чего ты все в джинсах?

Артритной фигой за плечо ткнула:

— Валера на тебя смотрит, считай, целый день. Приятно, думаешь, на такую-то смотреть?

За сеткой-рабицей сосед икнул, как пивной литровый пластик в кулаке сжали. Жена лейку отшвырнула, скользнула к дому. Муж за ней напролом через жимолость. На клумбе вода разлилась, утопила в жирной жиже луковицы гладиолусов. А над коптильней поднялся столбом белый папиросный дым. Рвался, пыхал комьями сердито, потом выправился, к нему прильнула тонкая сигаретная струйка. Невестка вздохнула, перекинула мешок с плеча на плечо и отвернулась. Свекровь-то уже на добрый десяток рядков ушла.

— Чего пыхтишь? Я слышу! Запоминай: жимолость отцветет, рассадишь. Пополам разделишь — и вперед. Вишня вымерзла, а побеги есть, много. Выкопаешь по одному, пересадишь. Тыкву я замочила с кабачками, горки надо приготовить. Сначала траву сухую, сверху перегной. Купишь мешка три, должно хватить. Трава потом преть начнет, тепло давать, это им, тыквам, хорошо. И не вздыхай! Сыпь давай, сюда сыпь!

Солнце побелело, но к закату не спешило. Свекровь хлебала в тени под навесом домашнюю невесткину лапшу, шпыняла хозяйку за пересол и толстоватую нарезку, потом неподвижно, как памятник, стояла в малиннике со шлангом, орошала водяной дугой голую молодую поросль, крапивный подлесок, а заодно и ни в чем не повинную соседскую собаку в щелястой будке за забором. Полола редиску в теплице, перекапывала огуречный парник, белила сливовые стволики линючей кистью, шалея от нашатырного духа, ругала внучку за затоптанный в вишневых зарослях ревень да швырялась земляными комьями в пришлого кота, разрывшего луковую грядку.

К вечеру затеяла пережигать на золу бревенчатые гнилушки из разобранной старой поленницы. Сумерки оживились, посиневшие тени сырыми языками все смелее лизали коричневую кожу на худых лодыжках, а она и не чувствовала. Сидела, скрестив ноги под лавкой, смотрела, как пузырится на сосновых стружках смола. Кеды промокли, размочалился узел на рваном шнурке, пропитался известью и пылью. Еще один день прошел, вдовий день, такой же, как три сотни прежних. Руки налились усталостью, потянуло, закрутило жилы. Опять не уснуть.

Мягко, ватно хлопнула дверь, по ступенькам прошуршала длинной домашней рубашкой невестка, накрыла старухины плечи фланелевой курткой, поставила рядом ведро с водой. Дужка звякнула, цинковое эхо пошло гулять по темным садовым закоулкам.

Похолодало резко, как это бывает в мае, и от сникшей в мокрых лунках, не принявшейся сегодняшней рассады пахнуло холодной ландышевой свежестью, текучей и хрупкой разом. Будто хрустнула на языке морозная льдинка. Обе женщины вздрогнули и прижались друг к другу плечами, подавшись ближе к костру. И огонь затрещал веселее, раздался, принимая в световой круг скамейку, полынную поросль по краю кострища и закопченное ведро с двумя утонувшими в нем голубыми звездами.

ЦЕННОСТИ

Чайник, закипая, плевался кипятком и подпрыгивал на раскаленной конфорке. Был он пузат и ребрист, бока оплыли под накипью. Повернулась ручка выключателя, чайник был схвачен тряпкой и водружен на стол. Он еще немного поворчал и степенно затих, погрузившись в дрему.

— Уверяю тебя, ты еще меня благодарить будешь! Этот человек совершенно, совершенно не нашего круга! — горячилась старая девушка Орфография, нависая над столом и не замечая, что левая грудь, обтянутая розовым синтетическим свитерком, купается в масленке с шоколадным маргарином. — Ведь должны же быть какие-то общие ценности, единство взглядов! А какие ценности могут быть у этого, извините, мужлана? У этого... — не найдя слов, возмущенно всхлипнула и, рванув со спящего чайника тряпку, остервенело принялась возить ею по пострадавшей груди. Краситель в маргарине не подкачал: чем больше Орфография терла, тем ярче и обильнее расцветала на розовом шоколадная смачная роза.

— Ты сними, сними кофтейку-то, я тебе ее мигом в соде простирну, как новая будет... — очнулась от виноватого своего анабиоза вторая сестра, чуть менее старая девушка Пунктуация. Она уже подскочила к Орфографии и затеребила пояс кримпленовой ее юбки, стараясь поскорее стащить с сестры обесчещенную маргарином вещь. Но у той вдруг судорожно повело рот, сквозь прикушенные до синевы губы пропузырился полувсхлип-полувой. Рука нащупала на столе все ту же тряпку и принялась наотмашь с оттягом хлестать по лицу, плечам и шее скукожившейся от ужаса Пунктуации. Прилетало по пухлым маленьким ладошкам, которыми та пыталась защититься и от ударов, и от плюющихся в истерике слов:

— Не сметь! Не сметь ко мне прикасаться! Ты... грязная... Ничего святого!.. Еще бабушка говорила... Ты...

Через полчаса в ауре валериановых капель Орфография спала на диване, по-детски сложив ладошки под щеку и привычно подогнув ноги, левая коленка чуть ближе к животу, а то там пружина обивку прорвала, лет пятнадцать уж как.

На цыпочках подкралась Пунктуация, заботливо укутала сестрицу стеганым одеялом и нежно поцеловала в серебристую растрепанную макушку. Вскоре чуть слышно клацнул дверной замок, воровато прошуршали по лестнице легкие шаги, и вот уже по аллее двора в сторону парка поплыла самая прекрасная на свете пара: еще не слишком старая девушка Пунктуация и слесарь пятого разряда в отставке, мужчина в полном расцвете сил. И солнце брильянтами отражалось в пивных осколках, и заливались соловьями мартовские коты, а там, на третьем этаже, в маленькой ванной, сквозь порошок, воду и соду роскошно цвела непобедимая шоколадная роза.

Станислав МИХАЙЛОВ

«НА ДНЕ ЗАЛИВА ДРЕМЛЕТ ТИЦИАН...»

* * *

То слух подсекает и сердце сечет,
То молкнет, но звук непрестан.
Слышна и невидима, наперечет
Болотная птичка в оконце течет:
Не зван и не назван, а кто позовет,
Тот тоже не назван, не зван.

И водка не лезет в обметанный рот,
И воет голодный обоз.
Сбежать бы пора, но встает в окорот
Прасковья Иванна — одна за народ…
Что свет не прольется и дождь не пройдет
В окрестные рожь и овес.

Колючие звезды обсыплют погост
На все времена, имена…
И сложенный вдвое родительский рост,
И форест форева, и евоный Фрост,
И ругань, вплетенная в гриву и хвост, —
То родина нам и страна.

А во поле нами оброненных слез —
Лучина, лампада, огонь.
И все, что в разлуке избыто и врозь
Последняя корка, изржавленный гвоздь —
Воздастся, восприметься в крепкую горсть.
Возляжет в прямую ладонь.

* * *

Поеду в Томск, о том, что в Томск поеду,
Пойму по небу дымному, пустому,
По еле прорисованному следу
На просеке лесной, по нитяному

Биенью букв в письме полузнакомки,
Почти забытой Яблоневой Саши…
Лицо ее сияло на иконке
В селе сибирском, в церковке домашней.

Поеду в Томск, где флигель ветхой почты
С причала виден во владеньях сада.
И адрес этот, тайный и неточный,
В предместьях городских искать не надо.

* * *

Последний трактир у заставы.
А тракт не кончается здесь.
Да только он птичий, картавый,
И глаз от него не отвесть.

Откушаем с кислыми щами
Щербатый стакан первача,
И ноги послушные сами
Наступят на стебель луча.

Трактирщик, а можно ли гречи
Да с ледника кваса подать,
Чего же ты, сын человечий,
Столуешь нас щами опять?

Ни слова чухонец дремучий
Не вымолвит, крошки смахнет…
По кромке густеющей тучи
Багровое пламя взойдет.

Ужели туда нам дорога,
Где палицей грохает гром?
Дней много у Господа Бога,
Побудем еще, подождем.

Трактирщик скрипучие двери
Отвалит, глазами кося.
И с чувством вины и потери
Поймем мы, что песенка вся.
. . . . . .
И где-то в подклети трактирной
Бомжиха исторгнет на свет —
Двух деток, орущих настырно
Молчанию нашему вслед.

* * *

Зине на год

Не верил в Бога, но надеялся,
Не прогневит мое незнание
Ночного озера и леса,
На утреннее узнавание

Надеялся, на все веселое
Надеялся, не понимая,
Что путь с околками и селами
И вся страна моя лесная —

Вот так растают, словно облако.
Вот так уйду навечно весь я.
По снегу молотому волоком
Без голоса и поднебесья.

Надеялся на ропот внутренний,
На опыт суетный и стыдный,
Но никого-то холод утренний
Не выдал, Коля, друг мой ситный,

Скажи — кого любить в отчаяньи,
Неведомого звать в полуночи,
Намеренно не замечая
Поодали стоящей тучи.

Какого основоположника
Застать врасплох на повороте —
Хотя бы одного художника
Вернуть во цвет — к его работе.

Не помня ничего — надеялся,
Молясь разбитыми губами
На дальний свет с его холмами…
. . . . . .
Туман сгустился и развеялся
Над лодками и погребами.

* * *

Над Караканом облако восходит
Одной ему известною тропою,
И смотрит вниз на маленькую землю,
Как на ребенка в тесноте сосновой,
На девочку, уснувшую в лесу
Высоком.

Над Караканом облако восходит,
Как нянюшка в переднике холщовом
С прижатою к груди молочной кринкой,
С лазоревой сединкой в волосах,
И сосны вековые молодеют.
Смеются.

Над Караканом облако восходит,
В соседней деревушке колокольцы
Перекликают сонные подворья,
И воздух полыхает медом, мятой,
И вновь грибное созревает лето
Над Караканом.

* * *

спросишь солянки, взамен отпускают борща,
горько становится, стало быть, горькую хлещешь,
друг мой охотник из коршуна суп обещал,
слушаешь байки — смеешься, орешь, рукоплещешь…

коршун взлетает и трепетом полнит леса,
так и возьмешь его после трехдневной болтанки,
прикорм какой-то из пшенки, перловки, овса,
рыбы нема, не пора ли каурую в санки

или гнедую запрячь, отлетает июнь,
пегая лошадь слоняется возле парома,
баню растопишь — в дыму дровяник и гальюн,
вызвонишь юлю, и брякнешь, люблю тебя, тома,

глянешь на небо, полдня голова набекрень,
плюнешь на то, как за этим народ надзирает:
вот завалился в крапиву нетрезвый плетень,
вот не дошедший до дома пастух отдыхает,

день отболели болотное и перемышль,
и уезжает из убинки грамотный парень,
спишь до обеда, а ночью на воду свистишь,
утки взлетают, и вправду, титов и гагарин,

господи боже, рассольник на стол подают,
пялится печень на «угол медвежий» в стакане,
лает собака, так лает, что нервы сдают,
сердце болит и однажды болеть перестанет.

* * *

На дне залива дремлет Тициан.
. . . . . .

Венеция? — Воды, официант!
Бокал подносит с ледяною рожей,
Как будто он и впрямь потомок дожей
И на паях содержит ресторан.

На дне залива дремлет Тициан,
Удрав из венецийских декораций
В гортанный бор, сосновый Каракан,
Где надобности нету притворяться
Вельможным старцем на виду у дур,
Их «силикон» в гипюре «от кутюр» —
Раскормленные долларами сиськи,
Мужья их, жирно пахнущие виски…
За мнимой позолотой сплошь обман,
Который ныне кличется гламуром…

Здесь голубей тю-тю, а местным курам,
Коровам, овцам как-то невдомек:
Кто подремать на дно залива лег?

Лишь местный участковый на «Урале»,
Узри он сей прискорбный эпизод,
Едва ли удержался б от морали:
«Опять утоп какой-то идиот!»

На дне залива дремлет Тициан…
Над ним вода и плащ зари вечерней,
И сосны в тихой нежности дочерней
Поют ему…
Вдали венециан,
Как дремлется, Вечеллио печальный,
Что грезится в закатном забытьи?
Не разглядят поклонники твои:
Где ты живой и кто в анналы сдан?
. . . . . .

На дне залива дремлет Тициан…

* * *

… Венеции и Риме,
Париже, Вене, Мюнхене и прочих
Местах, куда паломничают снобы…
Но боле я в Европу не ходок.

Привет, Алма-ата (а ты) ночная,
Пятнистая суглинистая кошка!
Ты сердце расцарапала до крови,
И в сумрачном угрюмом Новосибе
На белый снег смотрю, на белый войлок,
И кровь моя в причудливый орнамент
Сплетается, и до последней капли,
Последней буквы — Азия одна.

А так бы гнил, как падаль, на Ривьере,
В пропахшей русской классикой и скукой,
Жиреющей на солнце
Ницце — Ницше
Сказал, что недостаточность Пространства
Нам возмещает времени избыток,
Но всех нас ждет одна и та же
Ночь.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

КОНЕЦ СЕЗОНА

МЕЧТА

Я хотел бы владеть небольшой забегаловкой в Чехии,
чтоб чихать на погоду, на ветер с тяжелыми ядрами
града. Я бы сидел в погребке в центре Старого города,
обсуждая хоккей, дриблинг Ягра и новости с севера.
И своим завсегдатаям кружку янтарного вынеся,
я б глядел, как заезжий зевака разбавленным давится,
чтоб не спорить, а потчевать лучшим (когда догадается!).

Я назвал бы питейную скромно, со вкусом: «У Гашека».
И создал бы, наверное, Партию Чревоугодников,
Подкаблучников, Сиплых Охальников, Дамских Угодников,
чтоб бороться на выборах с Папством и девством. И сочные
кровяные колбаски на стол подавая в переднике,
я завел бы собаку, жену. И мечтал о наследнике.

А когда бы захлопнулась дверь за последним отчалившим,
погасил бы все лампы, как прежде — о геополитике
бесконечные споры до пены, у рта опадающей.
И пошел бы играть в буриме к одному из товарищей.
Чтобы утром, смешавшись с толпой, протестующей яростно,
лечь под танки истории.

КОНЕЦ СЕЗОНА

Парк отдыха. Закрыты карусели.
В аллеях, там, где лето прогуляли,
летают воробьи за сизарями.
Ленивые, остались, обрусели.
И каждый по-домашнему растрепан,
и сбились в пары, как перед потопом.

Еще темно. Но дождь уже идет.
И в детский сад малютку тянет мама.
Похожа на тебя. А он ревет.
Какое чудо — маленькая драма!
Но гаснут друг за другом знаки звезд:
такой ковчег останется — без нас.

И я не позову тебя, пока
не ангел ты. Но ты не ангел больше.
Когда ты уезжала через Польшу,
то не различья в дебрях языка
мешали нам. А то, что меж людьми,
мы оказались разными зверьми.

Не извернуться, не сменить расцветку,
подшерсток, оперенье. Только все
стучится мутный дождь в грудную клетку.
Стучит. И обозренья Колесо
еще скрипит…

* * *

Вот август, ночь. Отговорил сверчок
за дачами, за рельсами железки.
Но ходит вверх ногами паучок
по потолку, по рыхлой занавеске.
И ветер, заблудившись в перелеске,
следит звезды обугленный значок.

Сижу один под лампочкой слепой,
гляжу в окно — на черную фанеру
вселенной… В этой комнате пустой
я пустоту миров беру на веру.
Но мир, который кончился за дверью,
влетает в раму бабочкой ночной.

И разум раздвигает рубежи:
за кругом света лампочки ледащей
есть птицам не доставшаяся жизнь,
есть место для мечты о настоящей
судьбе, свободе…

ДЕВЯТЬ СОТОК

Грянут летние дни отпущеньем грехов.
И тяжелые капли сшибать с лопухов
я уеду на дачу, где дождь отошел.
Закатиться бы в Крым! Но и здесь — хорошо.

Где-то дыбится море. Цветет мушмула.
Но и тут, как душа, — в хризантеме пчела…
Непосильную ношу несет муравей.
И в сарай за лопатой забравшись, на дверь

обернусь — в рай плодовый. А из погребка
холодит инфернальная щель сквозняка.
Но под адову музыку ржавых петель
провожатым на свет появляется шмель.

* * *

Нет музыки, хранящей ото зла.
И есть печаль. А в небе — стрекоза.
Прошла гроза. И вовсе не понятно:
кому она хотела послужить?
И радугу над миром обнажить,
и молнией кого-то покарать. Но

ушла в песок. Над садом зреет смерть.
Над садом птаха продолжает петь,
хотя еще от страха обмирает
всем существом. Но свет горит в ночи,
но мотылек о лампочку стучит,
и гибель с красотою примиряет…

И не живет, но смыслы примеряет.

НА РЫНКЕ

Кедровый орех да брусника, да клюква. Один
в торговом ряду он торчит под тулупом: чернявый,
огромный мужик. Как толстовский Платон Каратаев —
стихийный мудрец… и таежник, что ездил в Харбин,
кто знает, как ставить силки, как крошится хитин,
повадки синиц, трясогузок, лисиц, горностаев.

Он дышит, как зверь. Он косматую лапу сует
тому, кто приблизится темную ягоду выбрать.
Он здесь, как в воде взбаламученной хищная выдра.
Горазд торговаться. И любит вымысливать счет
минутам тягучим, большим. И когда подопьет —
не знает наверно никто, что из этого выйдет.

Трудяга, честняга, хитрюга. Похож на лису
оскалом. С рогатиной молча идет на медведя.
Вот он-то и держит качнувшийся мир на весу
на зависть пришедшим в движенье народам, соседям.
…Вот он отстоит в полуночном соборе молебен
и двинется в глушь, восвояси, как будто к Христу
за пазуху:
в оттепель — посуху…

* * *

На закате судьбы за бетонной больничной оградой
у белёной стены, как на выцветшем снимке Бретона,
надо лишь чтобы ветер тебя по макушке погладил,
и уже ты — ребёнок. А мама любимая — дома

и на кухне хлопочет: вот-вот позовёт пообедать.
По затылку потреплет, сметаной заправит оладьи.
Каплет дождь затяжной. Этой музыки лучше не ведать:
этих плакальщиц-капельниц слушать не надо.

Вот идёт коридором сестричка. И следом, и следом,
как за мамину юбку, цепляются взгляды…

* * *

Я помню июнь, Летний сад и студентку из Пфальца:
смешные косички и вздёрнутый нос знатока.
Там голуби мира садились на голову Марса,
взлетали, следы оставляли, подобьем мелка.
И юная немка, увидев шажок голубиный —
значок пацифистский, ведущий из лужи в траву,
сказала по Хармсу: — Я лютик-цветок не сорву!
Пусть смотрится в тучи-руины.

Пусть древние руны тевтонцев на приступ зовут,
она защищает работу о русском барокко.
…Пять дней — и ко мне возвратится из армии друг:
вот он порасскажет про свой стратегический полк!
Вот мы погуляем — на тачку: искать недотрог.

Дворцы от Растрелли дождём расстреляла погода.
Ах, немочка, что ж, как история, ты близорука? —
туман разойдётся, и выйдут, незримы для слуха,
туман и проруха…

КИНОЛОГИЯ

Купить мне пса породистого, что ли?
Он будет выть на полную луну.
И горечь, в сердце рыбкою нырнув,
поднимется к теням, на антресоли.

И будет дом, а в доме мир и лад,
а в мире ночь, когда деревья сада
как водоросли тонкие висят.
И нет судьбы; и ничего не надо.

Как будто в заводь, в реку, в тёмный плёс
я лёг, а надо мною чёрный космос
к воде пришёл, и пьёт меня, как пёс,
как будто он пришёл сюда с вопросом,
как будто я и есть его вопрос…

Дмитрий РАЙЦ

ВЕК

Рассказ

Посвящается
Ивану Константиновичу Поднебесному

Коротко стриженный, с навсегда застрявшими средь морщин пятнами бурого загара Матвей Данилович походил на бурятского идола. Если бы не кустистые брови, то узкие глаза трудно было бы отыскать между великовозрастными бороздами на его лице. Праздничная рубашка была аккуратно заправлена в поношенные спортивные штаны. Пожилому имениннику во главе праздничного стола оставались считанные годы до завершения первого века жизни. Столетие порядком измотало старика, можно было подумать, что ему надоело пребывать на этой земле, он говорил медленно и неразборчиво, как человек, мечтающий поскорей улечься в постель и забыться сном:

— *Кажипусьводкинальет*, — сказал он дочери. К ней после смерти жены его переселили.

Внук сорока лет, посмеиваясь, исполнил просьбу, после подлил в рюмку себе и встал для произнесения тоста. Без него весь праздничный вечер погрузился бы в молчание, поэтому он был вынужден исполнять роль тамады. Молчание за столом шло врозь с его представлениями о хорошей семье.

— Словарь Даля определяет юбилей как, — он достал шпаргалку и зачитал, — празднество по поводу протекшего пятидесятилетия, столетия, тысячелетия…

— Скажи громче, — перебила дочь, устало пожала плечами и кивнула в сторону виновника семейного торжества — слух Матвея Даниловича поколебала стальная поступь двадцатого века.

— Так вот, дед, — вскрикивая, продолжил внук, — первый рубеж давно и успешно преодолен, через второй вот-вот так же по-царски перемахнешь. Остается третий. Да и он для тебя — раз плюнуть. Чтобы тысячелетие тоже осталось позади! — завершил он поздравление и потянул рюмку к деду. Тот безразлично глядел на рябь водки в стопке.

— Семяврукавце… Непрусски… ё… — глухо прошептал старик.

Непротокольное бездействие тянулось, пока тостующий сам не коснулся стеклом стекла. Выпили и приступили к еде. Перед Матвеем Даниловичем поставили тарелку с праздничным яством:

— Паста карбонара, — громко объявила сноха.

— Пусьхлебадас, — вновь попросил именинник через дочь.

Внук достал сперва корочку себе и поднес блюдо с хлебом деду.

— Вкусно, Матвей Данилович? — спросила сноха.

— Скажи, вкусно? — погромче повторила дочь. Не любовь (после долгого совместного проживания ничего не делается от любви) и не один неоспоримый долг вынуждали ее заботиться об отце. Присутствовало и скрытое желание подобным обращением с родителем подавать пример собственным детям и заслужить с наступлением дряхлости уход и себе. В силу возраста она понимала всю муку и ужас такого медленного умирания, которое без заботы хуже смерти; ее пугали схожие перспективы.

— Ничегомакароши… Пусьещеводкинальет…

Послушный внук наполнил рюмку старику и немного обновил свою, не замечая насмешливо-высокомерных взглядов супруги — ей все еще казалось нелепым есть макароны с хлебом; для внука же то было естественной детской привычкой.

На колени к Матвею Даниловичу не вскочил, а взгромоздился черный мохнатый кот с седой мордой.

— Тихонкотофеичмаленькигосподин… — Кот Тихон, которого язык не поворачивался назвать Тишкой, по кошачьим годам был не моложе именинника. — Висегоднякаколадушек…

— Тишка, Тишка, кис-кис-кис… — внук поманил кота, но тот продолжал смотреть перед собой. — Мама, купили алтайского меду, сегодня забыл, но на следующей неделе вам с дедом завезу.

— Удедупасекабыла, — вклинил реплику Матвей Данилович.

— Пасека была у вашего деда? — переспросила сноха.

Пожилой именинник кивнул (или вздохнул), а его дочь тем временем пояснила:

— Прадед приучал папу с детства есть ложку меда натощак, в этом секрет его долголетия. Впрочем, он еще не курил никогда.

— Тепертомедбадягаютсахаромиэтоводой… Пчелажалядруганадопилоксыпатули… Пчелыточистяопилокжалитонехотя… — Матвей Данилович шептал с передышками после всякого предложения и жутко неразборчиво, как оракул, прозревающий прошлое. — Семявсявокругдедаонводержал… Дядиснимсемямидетямидружножили… Померазвалиловсебатюколчакувел…

— Матвей Данилович говорил о пчелах, кажется? — спросила сноха свою свекровь.

— Иногда пчелы развязывают что-то вроде пчелиных гражданских войн: нападают друг на дружку, жалятся до смерти. В таких случаях пасечники засыпают в улей опилки. Пчелы чистоплотны, они станут вычищать улей, а как закончат, у них уже не останется сил на вражду, — так дочь дешифровала пчелиную часть речи именинника.

— Моя семья добавит еще кое-что, — обратился внук к супруге и сыну. Сноха поднялась со стаканом сока:

— Матвей Данилович, мы вас поздравляем от всей души и приготовили вам маленький сюрприз… — она прекратила кричать и из пакета, спрятанного за креслом, извлекла ноутбук с остроумно приклеенным бантиком, но запустить устройство не смогла. — Сережа, помоги.

Правнук Матвея Даниловича пребывал в самом разгаре капризного превращения из мальчика в мужа, в родительском поведении почти все казалось ему конченым мещанством, оттого на обращения такого рода и на саму компанию родителей он отзывался раздраженно, нетерпеливо и малословно. Прадедушкино угрюмое молчание, напротив, приходилось ему по душе.

Совершив ряд труднообъяснимых действий, мальчик зажег экран. Матвей Данилович недоверчиво нахмурился. Вновь повысил веселый голос внук:

— Приготовься к поздравлениям от иноземцев, — и подал своему сыну команду. Не обремененный каждодневным уходом за больным стариком, внук продолжал одной ногой вязнуть в прошлом и восхищаться дедом, как только

может внук-безотцовщина. Даже когда старец не узнавал его или называл неверным именем, он не обижался и думал только, что в девяносто семь лет оно простительно. Более того, неумышленно внук все еще стремился заслужить одобрение деда.

Через полминуты технического колдовства на мониторе возник размытый женский силуэт.

— Четче нельзя? — спросила дочь именинника у молодого специалиста. Тот отрицательно мотнул головой.

Силуэт задвигался, и голос с едва уловимой ноткой нерусскости воскликнул:

— Дед! С днем рождения! У меня потрясающая новость!

— Папа, поздоровайся с Настей.

Матвей Данилович кивнул изображению и как-то недобро осклабился.

— Оля, моя дочка, твоя правнучка, вот только вчера родила сына Свена. Ты теперь прапрадедушка.

Новость была венцом праздничных сюрпризов для старика, но он переход в легендарный статус воспринял достаточно бесстрастно:

— Свин? — переспросил он имя.

— Свен, — радостно повторила внучка.

— Ивантолучше, ё… — заключил живой прапрадед.

Застать правнуков давно не считается чем-то из ряда вон выходящим, но пересечься в подлунном мире с праправнуками — это удел богов. Примерно таким тостом внук предложил отметить шикарное известие, и спич его был одобрен и поддержан двумя государствами.

— Говорят, в Скандинавии теперь папу с мамой надо называть родитель номер один и родитель номер два. Скажи, неужели это правда? — беспокоилась новоиспеченная прабабушка.

Матвей Данилович перестал прислушиваться к беседе и начал дразнить макарониной равнодушного Тихона, пришептывая: «Тишкалюбитпышки…»

— Только в Швеции. Вот у нас в Дании говорят о шведах, что подобными заскоками они весь регион выставляют *идьотами*.

— Нормально? «У нас в Дании…» Двадцать лет там, и уже забыла, откуда родом, сестра? — засмеялся внук.

Старик завис над тарелкой — ему не было смешно.

— Пусьещеводки… Гамлет, ё…

Внук расторопно схватился за бутылку и потянул пробку, но дочь пресекла:

— Ему больше водки не наливай. Он спать не сможет.

Рюмку наполнили простой водой.

— Какой малыша вес? — спросила сноха.

— Вот почти пять килограмм, — делилась счастьем ставшая иностранной родня, — а рост — шестьдесят сантиметров!

Внук ликовал:

— Богатырь! Слышал, дед? Русская порода! Датчане такими не рождаются.

— Эй, вот датчан обижать не нужно.

— Как чувствует молодая мамочка себя? — задавала обычные вопросы сноха.

— Вот прямо отлично, словно рожала не в первый раз. Груши вот просила завезти, но в магазине все деревянные.

— Ну откуда в Скандинавии взяться приличным грушам? — не унимался внук.

— Здесь бывают вкусные, просто сейчас вот не сезон, — внучка защищала новое отечество даже в таких мелочах.

Как и дед, внук верил, что русские — первоклассный народ, потому не мог и не хотел прощать сестре и всем прочим беглецам-эмигрантам переезда. «Это отказ от памяти прошлого, от языка и традиций, от семьи, от всего русского», — считал он. «Зависть…» — так о нем думала его жена.

— Er det din bedstefar? («Это твой дедушка?») — прозвучал голос с датской стороны.

За внучкой возникло непримечательное мужское, но явно иностранное лицо в очках:

— Happy birthday, grandfather! Hi, everyone!.. («С днем рождения, дедушка. Привет всем!»)

— Han forster dig ikke alligevel («Он тебя все равно не понимает»), — перебила внучка мужа.

— Йенс, хай, — улыбалась сноха чужестранцу.

Матвей Данилович, придерживаясь за стол, поднялся и медленно пошаркал тапками к своей спальне. Он прикрыл за собой дверь и в темноте присел на краешек кровати. Со стенки чеканили время невидимые часы. Часы шли по кругу, а время вперед. Ход стрелок напоминал старику свист косы, он устало шепнул:

— Смерть… Вжикпшик, ё.

Следом за косой то ли память воскресила сцену из дыма крестьянского детства, то ли он прикорнул и увидел сон. Изба под Иркутском, нетесаный стол, во главе которого его дед. По обе стороны от него сыновья и тут же, по левую руку, Данила, отец. Едят. Восемь сыновей. И ни одной дочери! Трех старших убили на Первой мировой войне. «Казерубил», — всполошился Матвей Данилович. Четверых, в том числе Данилу, мобилизовал Колчак, и все канули без вести. Судьбы старичка, кайзера Вильгельма и адмирала Колчака оказывались неразрывны… Лица у всех, кто за столом, в дыму, неясные, только у деда вдобавок длинная, извитая борода, как в крестьянском кино. Как деда звали? «Батюданила… Деда… Непомню, ё…» — в такого рода забвении было что-то трагическое. Последний сын деда, Егорка, был не старше Матвея Даниловича, уцелел тогда, а погиб уже в Великую Отечественную.

Треугольник света вонзился в комнату и снова угас.

— Тишатыкис… Больномеусталдин, ё… — единственным чувством, которое имениннику следовало бы испытывать, было жуткое одиночество.

— Нет, это я. Скажи, ты чего ушел? — спросила дочь над самым ухом Матвея Даниловича. — Ты уже ведешь себя как ребенок.

— Идитутыдания, ё…

Дочь заговорила мягче и тише:

— Ты, что ли, снова злишься, что Настя уехала в Данию? Двадцать лет прошло.

— Какбезвины, ё.

— Они выросли, мы постарели. Скажи, с чего им слушаться стариков?

— Дедвотежовойрукавицедержалдетейвнуков, — Матвей Данилович остановился перевести дух. — Померазвалилосе… Батюколчакувел, ё.

— Так времена изменились, — она взяла отца под руку. — Пошли. Не будем обижать семью. На, возьми очки. Скажешь, ходил за очками.

Ее задели проблески нежности отца только к дряхлому коту. Хоть одного такого проблеска заслужила она.

Матвей Данилович вернулся за стол. Беседа в его отсутствие не прекращалась. Он надел очки и этим привлек к себе всеобщее внимание.

— Дед, как твои дела? Как твое самочувствие? — спросила внимательная внучка.

— Кажиномально, — увеличенные стеклами глаза смотрели поверх окошка в Скандинавию.

— Тебе прислать, может быть, лекарства? Вот вдруг у вас чего-нибудь нету…

— Настенька, ничего не надо, — оборвала дочь.

Воцарилась тишина, неминуемо ведущая к прощанию.

— Ладно! Безумно рада была вас всех видеть! Целую! Дед, еще раз с днем рождения. До связи! — послав воздушный поцелуй, внучка исчезла с экрана.

— Подарок, дед, — прокричал внук, осторожно поглаживая пальцами ноутбук. — Как захочешь, сможешь включать с Данией телемосты.

— Если что, Сережа обучит, — прикрикнула вдобавок сноха.

— Большое спасибо, — горячо, но спокойно поблагодарила дарителей дочь. Продолжительные лишения изматывают человека и надрывают прежние связи. Дочь, в одиночку двадцать лет лелеявшая больного отца, при всей неизбежной любви к своим детям, не могла перебороть чувства отчуждения. Ее время как будто остановилось. Для взрослых детей время продолжало рваться вперед. Она очень устала.

— Потрепались, ё… Дания… — ворчал Матвей Данилович.

В силу то ли преклонных лет, то ли испортившегося характера старик бывал чрезвычайно и незаслуженно ворчлив.

Напоследок представителю четвертого поколения за столом дали слово:

— Дедушка Матвей, за тебя! — кратко отчеканил правнук и быстро выпил стакан сока. Когда-то правнук оказался в зоопарке у крытого террариума, и от змеиного духа ему тогда стало тошно, жутко и невыносимо. От прадеда исходил запах то ли близкой смерти, то ли просто старости, только вновь перехватывало дыхание, подкатывал панический страх и хотелось поскорее бежать.

Дочка со снохой понесли грязные тарелки на кухню, где шипел и булькал закипающий чайник. На скатерть выставили чашки на блюдцах, вслед за сервизом посреди стола появился торт…

Матвей Данилович обернулся к дочери, принесшей нож:

— Лененадостыдаколькогрех… — тихо сказал он.

Сноха стала накладывать кусочки торта на блюдца, внук взялся за чайник, из уважения они якобы ничего не замечали.

— Ты путаешь. Лена — мама. Она умерла, уже двадцать один год как.

Как раз напротив правнука висел на стене парный фотопортрет. Наипростейший способ удивлять молодежь — показывать ей фотографии юных стариков. Прадед, молодой, серьезный, коренастый и усатый, в плохо сидевшем пиджаке и без галстука, придерживал под руку красивую девушку в скромном платье, которую правнук никогда не видел вживую, но близость и сходство с которой ощутил моментально.

Старик не только продолжал путать дочку с женой, но еще в нем прорывался застарелый стыд:

— Леназаводнепускаетфронтстыдобаневымоюсь… — жалобно шептал Матвей Данилович. Хотя когда бы завод не отстоял его от призыва как старшего мастера, не собралась бы, вероятно, семья за праздничным столом пить чай и чествовать прапрадеда.

— Папа, ты устал. Пора ложиться.

Матвей Данилович дернулся, точно спросонья:

— Какговоришьсотце, ё…

Завершение торжественного вечера оказалось несколько скомканным. Недоеденный торт был снесен на кухню. В прихожей в очередной раз повторились поздравления Матвею Даниловичу. Именинник слабо пожал руки внуку и правнуку, и младшие поколения оставили родительскую квартиру.

— Папа, пойдем, надо мыться. Десятый час, — сказала дочь, когда они остались наедине, и споткнулась о кота. — Тьфу ты, Тихон, темное существо…

Просыпается Матвей Данилович изо дня в день с чувством привычной боли. И колени ноют, и слезятся глаза, и колет бок. Очень хочется в туалет. На всякий случай на нем надет взрослый подгузник, но из вредности и от незабытой гордости он сгоняет с одеяла Тихона, спускает ноги в тапки и дошаркивает до уборной. После выходит в зал для обязательной зарядки. Он разводит и сводит руки, точно хочет громко хлопнуть, но не может попасть ладонью на ладонь; сгибается в попытке достать кончиками пальцев пола, но пальцы не опускаются ниже колен. Как это ни банально, без зарядки долго не проживешь. Появляется заспанная дочь, которая, ругаясь на второй час ночи, укладывает старика обратно в постель. И все повторяется до трех раз за ночь…

По лестнице семья спускалась молча, только в машине, заведя мотор, сноха заявила:

— Матвей Данилович впадает, похоже, в детство…

— Жизнь-то никого не щадит, — ответил внук. — Хотя дай бог каждому сохраниться настолько в девяносто семь лет.

— Не поспоришь, — сноха была чужой, она так и не почувствовала себя в этой семье своей и от воспаленного самолюбия считала, что одоленное хворями и помутнениями ума продолжение жизни после восьмидесяти (ну хорошо, после восьмидесяти пяти) есть достойное уважения, но все же недоразумение.

Внук обратился через зеркало к своему сыну:

— Эх, Серж, знал бы прадеда лет еще двадцать назад…

Наверняка Свен вырастет в образцового датского господина, белокурого, доброжелательного и говорящего по-русски лишь «zdravstvuite» и «spasibo», да еще «na zdorovie» в качестве тоста перед рюмкой датской водки. Внук попытался представить невероятную встречу повзрослевшего Свена с прапрадедом. Матвей Данилович отказался бы чуять в чужаке-европейце свою родную каплю сибирской крови. Но и праправнук затруднился бы признать за своего предка дряхлого и столь русского старика в рубашке и поношенных тренировочных штанах. Может быть, они бы нахмурили только общие кустистые брови, разглядывая удивительно одинаковые носы друг друга.

Хотя не исключено и то, что однажды солидного датчанина корни притянут в Россию, в пугающие стужи Сибири, и, выгадав время, он посетит зимнее кладбище. Там с превеликими трудностями Свен разыщет могилки далеких близких покойников, в молчании уложит на снежные холмики по паре вялых гвоздик и по-датски подумает русские мысли.

Анжела ПЫНЗАРУ

СЛЕПЫЕ ПТИЦЫ

* * *

быть небом которого нет
цветком на столе
землей под ногами
деревом желтым у узких ворот Китая
откуда течет Дунай
снежным куполом леса у Сибирских
Хребтов
и на горных тропах склониться к реке
сонной сухой травой петь песню ветра

* * *

моя память пишет стихотворение
я не знаю о чем эти строки
мне бы нянчить детей и варить
варенье
но моя память-коза пишет стихотворение

она скачет по чужим угодьям
перепрыгивает через заборы
захватывая с собой чужое добро
моя память решает вопрос
о котором я и думать боюсь

она строптива как лошадь
она нежна как язык
между ног у меня по ночам
она не знает зачем
мне этот интерьер
она ищет ответ и она пишет стихотворение

НА ДАЧЕ

все надоело осень кует
подковы скрытым чувствам
в середине времени завершает
круг еще желтый лист дождь
спускается со скалы в низине
к реке мерцающие сигареты

бакены мужчины у костра
вот-вот перекричат ветер
в вышине дым поднимается
точно по нитке паук как
отдален мир от леса реки
единственного зеленого листа
поступью бомжа крадущегося
вдоль забора дачи

ВЗГЛЯД С КРУТОГО ОБРЫВА

С тех пор как их выгнали здесь мало что
изменилось теплый ветер молчит
между мною и небом отчетливый голос
не могут люди ну не могут они жить
в раю сколько раз проходила только
сегодня заметила камни треугольниками
между незабудками лилиями
разве они не прекрасны больше в этом наряде
запах гнили здесь хоронят собак ну что ты
надо же и собак где-то хоронить
вот и нашли место на крутом обрыве на ветру
оказаться бы там внизу у самой реки
одни и те же волны а мы те же что
были здесь изначально или другие совсем другие
между мною и небом ветер
запах трупа мертвой собаки какой она
была при жизни не могут люди хоронить
собак и жить в раю

* * *

на чистейшем румынском
не молдавском нет
ругали советскую власть
маму собаку детей снова маму
по воскресеньям пили вино
в саду под вишней на траве
глядя на высоченную черешню
перед домом затевали спор
срубить ее сейчас или завтра или
держать еще год

в колхозе не работали ни дня
путали автобусы из-за незнания кириллицы

под вечер возвращаясь из чужих деревень
пешком чтобы опять
не перепутать вздыхали как все изменилось

выучите наконец одну букву
говорила мама и рисовала
эту букву везде первую в названии деревни
учим учим успокаивали они маму
разговаривая больше с курами чем с людьми

ждали короля считая себя его поданными
были монархистами и я тоже тоже
с ними ждала

бабушка дедушка

* * *

а вдруг я там оставила родных
детей и тех кого любила
там где-то но не здесь
там дом со ставнями наличниками
и окна прямо в небо открываются
и вот она тоска возьми ее рукой
и липкая и вязкая как мед небесный

а если и они меня там ждут
не ведая о том а
в общем полная шиза
цветет черемуха

* * *

города в которых мне никогда не бывать
дома в которых мне не жить
как они манят меня
лица людей возвращающихся
из кинотеатра летним погожим
вечером как будто из далекого
путешествия напоминающие города
дома

* * *

я полюбила тебя во второй раз
осенний воздух учит состраданью
в общем сам понимаешь тогда
семья муж дети
и мне было вовсе не до тебя

осенью
особенно хочется любить
утром подолгу смотрюсь
в зеркало чтобы узнать
какой будет день
особенно со стороны енисея
танцуй со всеми именами
что ты знаешь
вокруг только мертвые

эти места для грусти
но где же их взять для радости
деревья дома и даже земля
да знаешь это была горечавка
одна единственная на ветру
на всем берегу
чем не цветок для тебя персефона
как сказал бы он
имей хоть капельку воображения

* * *

как умирают скажи мне
узнаешь по ощущениям
чуть сдавливает у виска
и сердце скачет галопом все
глубже и глубже отдаляясь
от стенки груди

и ты говоришь
я уже был здесь вчера
и невидимой прохлады
невидимой жары
ураган что все
сносит прочь на своем пути
оказался в месте
где ты искал чего-то
но так и не нашел

* * *

не приглашаю птицу в дом
шторы задернула
на плите гречневая каша
не благословенна ни единым богом
отзвук шагов шелест крыльев в уме
вместо неба улей
жужжащих листьев

* * *

гребу не к берегу а прочь в
чужой стране и по чужим
уставам и не пытаюсь жить
а так не быть с травой с березой
с медуницей летом
зимой с одной вороной
черною пургой с туманом
енисейским не быть и кажется
нашла тебе замену и день вчерашним
воском капает на блюдце когда
нас нету и времени нет когда б ты знал
как просто оказалось здесь жить
а впрочем
слушай барабаны я слушаю и
постепенно умирая…

* * *

ни поцелуев
ни касаний

так ночь овладевает тьмой

мне непонятен инстинкт
крик да и
рафинированность
и все это вокруг
да около
я чуть не сдохла

но иногда так хочется быть при тебе
как иосиф при фараоне
и толковать твои сновидения

* * *

кузнечик что в траве прошелестел
так поделился радостью земной

и мне в ночи
осиротело просветлело

и месяц

в тот миг
он наблюдал за мной

* * *

так же хотелось чтобы
мак мерфи сбежал из
сумасшедшего дома
через печную трубу
и сразу в небо когда

курили на заднем дворе школы

еще хотели чтобы ты уезжал
каждое утро куда-то а под
вечер возвращался
будто с охоты
и каждый день чего-то ждали

и ничего не сбылось

* * *

и киноварь рябины
по стеклу
и след
помады на твоей
рубашке спит
и видит сны
и я могла бы могла

так нежно цветы левкоя
склонились над галькой
и дети о неземном говорят
и не по-детски смеются
камни бросаю конфеты
как руны читаю и ты бы могла
стать но лучше крошечной галькой
лучше яблочком и наливаться
на ветке лучше с червячком внутри
или как

слепые птицы петь в саду

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ АВТОРОВ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1924—2001)

Родился в с. Овсянка Красноярского края. Воспитывался в детском доме. До 1942 г. жил, учился, работал на родине. Воевал на фронте, был тяжело ранен. После войны жил в Пермской и Вологодской областях, работал плотником, разнорабочим, вахтером. Печатается с 1951 г., первая книга «До будущей весны» вышла в 1953 г. в Перми. Автор многочисленных книг прозы и публицистики. Лауреат премий СССР и РСФСР, народный депутат СССР, организатор «Литературных встреч в провинции» в Овсянке.

АЮШЕЕВ Булат Лубсанович (р. 1963)

Родился в Бурятии. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Пишет стихи, рассказы. Печатался в газетах, коллективных сборниках, в журналах «Октябрь», «Сибирские огни», «Воздух», «Байкал», в альманахе «Иркутское время». Член Союза писателей России. В настоящее время является сотрудником журнала «Байкал». Живет в Улан-Удэ.

БАШУНОВ Владимир Мефодьевич (1946—2005)

Родился в пос. Знаменка Турочакского района Горно-Алтайской автономной области. Первое стихотворение опубликовано в 1963 в областной газете «Звезда Алтая» (Горно-Алтайск). В 1970 г. окончил филологический факультет БГПИ, учился на Высших литературных курсах. В 1994—1997 гг. главный редактор журнала «Алтай». Печатался в журналах и альманахах «Наш современник», «Москва», «Сибирские огни» и др. Автор 10 поэтических сборников.

ВЯТКИН Георгий Андреевич (1885—1938)

Родился в 13 (25) апреля в Омске. Окончил учительскую семинарию в Томске. Публиковаться начал с 1900 г. в томской газете «Сибирская жизнь», а также в столичных журналах. С 1918 г. сотрудник Информационного бюро Временного Сибирского правительства, затем заведующий бюро обзоров печати в отделении печати Российского правительства А. В. Колчака. В 1920-е годы печатался в «Сибирских огнях», «Советской Сибири». С начала 1930-х годов работал в редколлегии Сибирской Советской энциклопедии. Арестован 16 декабря 1937, осужден к расстрелу, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. Автор поэтических сборников «Стихотворения» (1907), «Грезы Севера» (1909), «Под северным солнцем» (1912), «Чаша любви» (1923), «Опечаленная радость» (1917) и др.

ЗАЛЫГИН Сергей Павлович (1913—2000)

Родился 6 декабря (23 ноября ст. ст.) в с. Дурасовка Уфимской губернии. В 1939 г. окончил гидромелиоративный факультет Омского сельскохозяйственного института по специальности инженер-гидротехник, участвовал в исследовательских экспедициях в Сибири. С 1953 до конца 60-х годов жил в Новосибирске, совмещая работу сотрудника СО АН СССР с литературным творчеством. В 1986—1998 гг. редактор журнала «Новый мир». Лауреат Государственной премии, избирался членом правления Союза писателей СССР и РСФСР. Печатается с 1936 г. Первая книга «Рассказы» вышла в Омске в 1941 г. Также: «Северные рассказы» (1947), «Тропы Алтая» (1962), «На Иртыше» (1964), «Соленая Падь» (1968), «Комиссия» (1975) и др.

ИВАНОВА Валерия (р. 1972)

Родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет. Публиковалась в «Сибирских огнях». Живет в Иркутской области.

КОБЕНКОВ Анатолий Иванович (1948—2006)

Родился 9 марта в Хабаровске, вырос и учился в Биробиджане. Работал слесарем, токарем, рабочим геологоразведочной экспедиции. В 1980 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. С июня 1997 года ответственный секретарь Иркутской организации Союза российских писателей. Редактор-составитель иркутских альманахов «Зеленая лампа» и «Иркутское время». Организатор Фестиваля поэзии на Байкале. Автор нескольких поэтических книг. Умер в 2006 г. в Москве.

МИХАЙЛОВ Станислав Геннадьевич (р. 1962)

Родился 15 октября в г. Полевской Свердловской области. Окончил Алтайский государственный институт культуры. Заведующий отделом поэзии журнала «Сибирские огни». Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «Интерпоэзия», «Мангазея», «Крещатик», «Новая Юность» и др. Автор поэтической книги «Июлия».

МЯСНИКОВ Николай Федорович (1954—2012)

Родился 13 марта в Новосибирске. Художник, литератор. Работал чертежником, дизайнером, архитектором. Автор нескольких персональных выставок. Картины представлены в музеях Новосибирска и Новокузнецка, в частных коллекциях в США, Израиле, Франции, Швейцарии, Австралии. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Дарование», «День и ночь» и др. Автор книг «Мои соседи знают о Париже» (2001), «Атлантида» (2004) и др.

НЕСМЕЛОВ Арсений Иванович (наст. ф. Митропольский) (1889—1945)

Родился 8 (20) июня в Москве. Учился в кадетском корпусе, во время Первой мировой войны воевал на Австрийском фронте. Во время Октябрьской революции участвовал в восстании юнкеров, затем уехал в Омск, присоединился к войскам А. Колчака, был адъютантом коменданта Омска. В 1920—1924 гг. жил во Владивостоке, печатался под псевдонимом, переехал в Харбин. В августе 1945 г. вывезен в Москву, умер в пересыльной тюрьме в Гродекове Приморского края. Печатался с 1911 г. Первая книга «Военные странички», очерки и стихотворения, вышла в 1915 году. Во Владивостоке изданы книги: «Стихи» (1921) и «Уступы» (1924); в Китае: «Кровавый отблеск» (1929), «Без России» (1931), «Рассказы о войне» (1936), «Полустанок» (1938) и др.

ПЫНЗАРУ Анжела

Родилась в Молдавии, училась на филологическом факультете Кишиневского государственного университета, в Литературном институте. Пишет на румынском и русском языках. Поэтические публикации в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Сибирские Афины», «Дети Ра», «Ликбез». Финалист премии Фонда имени В. П. Астафьева (2008, 2009, 2011). Автор книги стихов «Субботние птицы» (2004). Живет в Красноярске.

РАЙЦ Дмитрий Владимирович (р. 1990)

Родился в Новосибирске. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Рассказы публиковались в «Сибирских огнях», «Литературной газете». Живет в Новосибирске, работает инженером.

РАСПУТИН Валентин Григорьевич (р. 1937)

Родился 15 марта 1937 г. в д. Аталанка Иркутской области. Окончил в 1959 г. историко-филологическое отделение Иркутского государственного университета. Работал в газетах Иркутска и Красноярска. Печатается с 1961 г. Первые книги вышли в 1966 г.: «Костровые новых городов» и «Край возле самого неба». Также: «Живи и помни» (1978), «Повести» (1988), «Дочь Ивана, мать Ивана» (2004), «В поисках берега» (2007) и др. Герой Социалистического труда, лауреат многих премий, общественный деятель, выступающий в защиту русской нации, литературы, духовности, участник Всемирных русских национальных соборов.

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Анатольевич (р. 1974)

Родился в Омске. Окончил философский факультет Омского педагогического университета по специальности «Культурология». Печатался в журналах «Арион», «Дружба народов», «Сибирские огни» и др. Живет в Омске.

САМОХИН Николай Яковлевич (1934—1989)

Родился 1 августа в с. Утянка Алтайского края. В 1953 г., после окончания средней школы, переезжает в Новосибирск. Окончил гидротехнический факультет Новосибирского института водного транспорта, работал в проектном институте, мастером на стройках. Печатался в газетах «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск», «Литературной газете», журналах «Смена», «Сибирские огни». Первая книга «Прекрасная несправедливость» вышла в 1962 г. Также: «2000 колумбов» (1963), «Странные люди» (1966), «Шашлык на свежем воздухе» (1970) и др.

СВЕТЛОСАНОВ Владимир Сергеевич (р. 1957)

Родился в Новосибирске. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института. Работал преподавателем русского языка и литературы в различных школах города. Публиковался в литературных журналах и альманахах: «Сибирские огни», «День и ночь», «Арион», «Иностранная литература», «Новая Юность» и др. Автор нескольких поэтических книг. Живет в Новосибирске.

СОКОЛОВ Анатолий Евгеньевич (1946—2010)

Родился 21 января в Новосибирске. Работал в геологических и геофизических экспедициях в Заполярье. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института, был учителем русского языка и литературы. С 1974 г. преподавал философию в вузах. Кандидат философских наук. Печатается с начала 60-х гг. Первая книга «Спартаковский мост» вышла в 1990 году. Также: «Крепость» (2001), «Невразумительные годы» (2004), «Материк» (2006), «Осенние птицы» (2010). Лауреат премии им. Н. Гарина-Михайловского (2006).

СТЮАРТ Елизавета Константиновна (1906—1984)

Родилась 28 сентября в Томске. С 1932 г. жила и работала в Новосибирске. Начала печататься в 1929 г. как детская поэтесса, в 1943 г. выпустила первую книгу стихов. В военные годы служила в сибирском отделении ТАСС. В конце 1940-х подвергалась критике за «ахматовщину». Автор 16 поэтических сборников и нескольких десятков детских книг.

ШАЛАМОВ Варлам Тихонович (1907—1982)

Родился 5 июня в Вологде. В 1924 г. переехал в Москву, работал на заводе, учился в Московском университете на факультете советского права, исключен по политическим мотивам. С 1929 г. отбывал на Северном Урале трехлетний срок за «троцкистскую деятельность», с 1932 по 1937 год жил в Москве, работал в ведомственных журналах. С 1937 по 1953 год — в лагерях Колымского ГУЛАГа, после освобождения в 1956 г. жил в Москве. Печатается с 1932 г., в 50-е годы — в журналах «Юность», «Знамя», «Москва». Первая книга — сборник стихов «Огниво» (1961), также книги стихов: «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967) и др. При жизни без воли автора за границей выходили «Колымские рассказы» (1972, 1978).

ШУКШИН Василий Макарович (1929—1974)

Родился 25 июля в с. Сростки Бийского округа Алтайского края. Учился в автомобильном техникуме, работал в колхозе, слесарем на заводах Калуги и во Владимире, служил на Черноморском флоте. Окончил ВГИК (мастерская М. Ромма), снимался в кино, автор известных фильмов «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др. Печатается с 1959 г. Первая книга «Сельские жители» вышла в 1963 г. Также: «Там, вдали» (1968), «Беседы при ясной луне» (1973) и мн. др.

ЯРЦЕВ Владимир Иванович (р. 1945)

Родился на Алтае. Окончил историко-филологический факультет Новосибирского педагогического института. Работал учителем истории в школе, корреспондентом, редактором в книжном издательстве. Автор вышедших в Новосибирске книг стихотворений «Двое» (в коллективном сборнике «Гнездо поэтов»), «Грустная память», «Над темной водой» и др. Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2007).